

Николай СЕДОВ

К О Н С Т Р У К Т О Р

Тольятти
Литературное агентство Вячеслава Смирнова
2014

ББК 84(2Рос - 4Сам - 2Тол) 6 - 4
С77

С77 **СЕДОВ, Н.**

КОНСТРУКТОР: РОМАН, РАССКАЗЫ / Николай Седов. –
Т.: Литературное агентство В. Смирнова, 2014. – 212 с.

ISBN 978-5-98147-042-4

Книга издана при поддержке
Министерства культуры РФ и Союза российских писателей.

ISBN 978-5-98147-042-4

© Н. Седов, 2014
© М. Шляпина, 2014
© Литературное агентство
В. Смирнова, 2014



КОНСТРУКТОР

(роман)

«В мире не было ни героев, ни монстров,
но в своем воображении Зак неустанно выискивал и тех, и других».

Гильермо Дель Торо, Чак Хоган «Штамм»

ЧАСТЬ I

ПЕРВАЯ КРОВЬ

1.

Многие люди помнят себя в грудном возрасте. Некоторые даже утверждают, что сохранили в памяти момент рождения. Аркадий Шелестов ничем подобным похвастать не мог.

Первое его воспоминание относилось к трехлетнему возрасту, и, соответственно, датировалось тысяча девятьсот восемьдесят пятым годом.

Их семья тогда жила в малосемейке. Дом располагался в одном из самых старых кварталов Тачек. Впрочем, сказать «старый» в данном случае будет не совсем верно. Ибо Тачки по определению были городом молодым. Их отстроили во второй половине двадцатого века. По большому счету, город являлся придатком к заводу, на котором собирали автомобили, являвшиеся аналогами европейских. Тачки представляли собой гигантский спальный район.

В малосемейке было три комнаты, не считая кухни. Самую большую, выходящую окнами на восток, занимал дядя Юра со своим семейством — двумя сыновьями и женой. Из-за круглой кудрявой головы дядя Юра постоянно ассоциировался у Аркаши с бараном. Вспоминая его позднее, Шелестов подберет другое сравнение: сосед походил не на вышеупомянутое парнокопытное, а, скорее, на поклонников стиля диско.

Слева от входа в квартиру располагалась комнатуха, в которой ютились пенсионеры Иван Захарович и Лидия Андреевна. Из их тесного жилища всегда тянуло лекарствами и — почему-то — прокисшим молоком.

Событие, вошедшее в Аркашину память под номером один, произошло в их с мамой и папой комнате, где-то около пяти вечера. За окном стоял погожий сентябрьский день. словно решив отыграться

за дождливое лето, небо на целую неделю залило дворик теплом и солнцем. Не исключено, что подобной щедростью был одарен не только двор, однако наш герой, для которого в ту пору весь мир ограничивался крошечным клочком земли, об этом не подозревал.

Но перейдем непосредственно к событию. В памяти мальчика оно осело на уровне образов и ощущений.

Итак.

Аркаша сидит на коленях у отца и смотрит на солнце. Оно вот-вот должно скрыться за стоящим напротив домом. В падающих из окна оранжевых лучах видно, как с паласа к потолку поднимаются тысячи пылинок.

От отца слабо тянет чем-то кисловатым. Мальчик еще не знает слова «перегар», но у него уже выработалась устойчивая неприязнь к запаху. Когда от отца так пахнет, то его глаза слезятся, а движения становятся угловатыми.

Отец похож на большую грустную куклу. По взгляду видно, что родитель сейчас не здесь, а где-то далеко. В четвертом измерении. Контактрует с тонкими мирами.

Мальчик не знает всех этих слов. Он подберет их позднее, когда начнет анализировать свое прошлое — а этому занятию с возрастом он будет предаваться все чаще и чаще.

Отец пытается играть с Аркашей. Получается у него неуклюже — как у человека, впервые севшего за баранку автомобиля. Или, скорее, как у идиота, которому дали в руки кубик Рубика: он держит незнакомый предмет в руках, хлопает глазами и не знает, что с ним делать.

Отец берет со стола собранный из конструктора грузовичок с приделанными колесиками. Протягивает малышу.

Аркаша несколько секунд переводит взгляд с грузовичка на отца. Снова на грузовичок. Затем его рот искривляет вполне взрослая гримаса отвращения. Грузовик летит на палас. Из глаз мальчика брызжут слезы. Чувство такое, словно он только что подержал в руке огромного жука. Или таракана. Или еще что-нибудь мерзкое.

Отец нагибается, чтобы поднять игрушку. В этот момент он похож на старый, изъеденный ржавчиной механизм, который по всем законам физики и механики давным-давно должен был сломаться, но вот — поглядите-ка — еще работает вопреки этим самым законам.

И тут открывается дверь. Слышен тихий скрип — его издает приколоченный к косяку кусок кожи (специально, чтобы дверь не открывалась). В комнату входит мама.

Аркаша ждал маму с самого утра. Вот уже несколько дней подряд он слышит от родителей слово «получка», а это означает,

что, вполне возможно, сегодня мать порадует его каким-нибудь гостинцем.

В радостном предвкушении мальчик тянет руки к матери и прыгает с отцовых коленей.

Все дальнейшее происходит очень быстро и занимает секунд пять, если не меньше.

Отец безуспешно пытается подхватить Аркашу.

Аркашина голова соприкасается с углом стола. Скользящий удар над левым виском.

Крик матери.

Сильное давление с обоих боков — это отец с опозданием поймал сына. Трудно дышать.

Боль.

Заливающая левый глаз кровь.

Боль.

Кровь стекает ниже. Попадает на губы.

На язык.

Заполняет рот.

Боль.

Темнота и тишина. Следом за ними накатывает ощущение тепла и спокойствия. Аркаша словно возвращается назад, в материнскую утробу — к спокойному растительному существованию. В место, где все дается в достаточном количестве, а, главное — бесплатно...

Перепуганные родители по очереди несли маленького Шелестова до травмопункта — к счастью, он находился поблизости. Мать всю дорогу боялась, что пьяный отец еще раз уронит ребенка, и периодически выхватывала сына у него из рук.

Бывалые врачи говорили, что мальчишка родился в рубашке. Придись удар сантиметром ниже, и вместо больницы его повезли бы в морг.

На память о событии остался продолговатый белесый шрамик над левым виском.

2.

Дошкольные годы Аркадия прошли в родных пенатах, то есть в малосемейке, во дворе и в детском саду «Улыбка».

Нельзя сказать, что он был уличным мальчишкой. С тем же успехом нельзя было его назвать и домашним. Более всего в отношении Аркаши подходило определение «обычный ребенок». Мальчик рос в меру послушным, в меру капризным, в меру общительным,

одним словом — всего в нем было в меру. Пожалуй, единственным аркашиным отличием от сверстников была фанатичная влюбленность в конструкторы. Даже вышеупомянутое событие (в котором конструктор, так или иначе, фигурировал) не смогло перебить его страсть. Напротив — с каждым днем она росла, становясь все сильнее, целиком захватывая ребенка. Образ конструкторного грузовика навсегда укрепился где-то в подкорке детского мозга, на самом глубинном уровне сознания, и стал неизменно ассоциироваться с болью. Только боль эта со временем начала казаться приятной: с таким же упоением, пожалуй, дети любят ковырять старые болячки, не давая им зажить. И если взрослые вовремя не заметят и не пресекут дурную привычку, в рану может проникнуть инфекция. Но Аркашины родители, будучи занятыми своими взрослыми делами, ничего не знали о «болячке» сына и потому его хобби воспринимали не иначе как милое детское увлечение.

Едва заведя в магазине красиво оформленную коробку с надписью «Конструктор», он останавливался у витрины. На лице появлялось тоскливое и одновременно сосредоточенное выражение. Его можно было бы счесть комичным, если бы не тот факт, что появлялось оно на лице ребенка.

Если вы хотите лучше понять, что это было за выражение, постарайтесь представить себе законченного наркомана, в самый разгар ломки посаженного в камеру, одна стена которой сделана из прозрачного стекла. С другой стороны к стеклу подходит «собрат по игле» и с нескрываемым удовольствием вмазывается. Смешанная с алчностью смертная мука искажает лицо первого наркомана, когда он наблюдает за вторым. Вот и Аркаша приблизительно так смотрел на новый конструктор.

Конструктор мог быть пластмассовым, железным либо деревянным. Последние, правда, встречались крайне редко. Но заполучить именно такой было для мальчишки пределом всех мечтаний. Как правило, из деревянного конструктора можно было собрать мини-атюрную постройку — сарай, избу, амбар или даже многоэтажный дом. Куда реже «конечным продуктом» становились автомобили и куклы. Однако деревянные конструкторы, как уже было сказано, являлись редкостью, и обычно приходилось довольствоваться их железными, чаще — пластмассовыми собратьями.

Принеся коробку домой, Аркаша ставил ее в тесный закуток между стеной и письменным столом, за которым мама обычно проверяла домашние работы и выставляла отметки в дневники. Именно там, в удалении от чьих бы то ни было взглядов, коробке предстояло простоять несколько дней. В течение этого времени любому

из членов семьи строжайше запрещалось смотреть на коробку — и тем более вынимать ее из темного пыльного хранилища. Если первое либо второе все-таки происходило, Аркаша со слезами кидался в ноги нарушителю и мольбами либо упреками вынуждал поставить коробку на место.

После того, как конструктор извлекался на свет божий, все его детали методично раскладывались на паласе. В совокупности они образовывали треугольник с идеальными, словно выверенными по линейке сторонами. Сам Аркаша, правда, об этом даже не подозревал.

Удовлетворенный, мальчик долго с тревогой наблюдал за деталями, словно они были живыми и в любой момент, стоит только потерять бдительность, могли перестроиться в другом, не задуманном изначально порядке, разрушив тем самым весь замысел. Убедившись, что все компоненты на своих местах, Аркаша приступал к действиям, которые иначе как ритуалом назвать было нельзя.

Похожий на средневекового алхимика, мальчик на коленях передвигался внутри треугольника. Протянув руку, брал нужный кусочек пластмассы. Не выпуская его, хватал второй. Почти не раздумывая, соединял их и тянулся за следующей деталью.

Однажды мать, уходя в гости к подруге, забыла взять ключи от комнаты и, вернувшись, была вынуждена несколько часов провести у соседей-пенсионеров, распивая невкусный чай и выслушивая нескончаемый монолог о былых временах, неблагоприятной современной молодежи и перестройке, которая ни к чему хорошему не приведет. Во втором часу ночи вернулся отец. Открыв его ключами дверь, родители оказались в залитой лунным светом комнате. Посередине они увидели неподвижную маленькую тень, которая при ближайшем рассмотрении оказалась их сыном. В руках он сжимал продолговатый брусок, из которого во все стороны торчали антенноподобные шпильки. Брусок был сделан из пластмассовых деталей. Благодаря кружочкам и дырочкам на поверхности этот кусок пластмассы казался пористым, готовым впитать в себя что-то, какую-то энергию из окружающей атмосферы, и одновременно напоминал уродливую пародию на улей.

Вообще, то, что получалось у Аркаши в итоге, никогда не совпадало с тем, что нужно было собрать. Все инструкции, схемы и рекомендации, прилагавшиеся к каждому конструктору, никогда не прочитывались и отправлялись в мусорное ведро сразу после открытия коробки.

Случалось, процесс сборки растягивался на несколько дней. В таких случаях Аркаша напрочь забывал о еде — кормить его приходилось чуть ли не силком. Спал он нервно, много ворочался и часто

просыпался. Иногда во все начинал напевать какую-то тягучую мелодию — и лежащим рядом родителям оставалось лишь догадываться, где он мог ее услышать.

Собранные из конструктора поделки выставлялись на шкаф, занимали свое место на полках рядом с книгами, на подоконнике между любимых маминых гераней и впоследствии никогда не перedelывались, не дополнялись новыми деталями — одним словом, не изменялись.

3.

В самом центре Аркашиного двора находилась прямоугольная площадка. Половина ее была засыпана песком вперемешку со щебнем. Вторую половину почти полностью занимала уродливая железная конструкция. Официального названия у нее не было. По общей негласной договоренности она именовалась Лазилкой.

Из-под песка и щебня проглядывали бетонные плиты. Лежащие здесь неопределенно долгий срок, они походили на крышки от саркофагов, в которых обрели свой сомнительный покой древние фараоны. Казалось, стоит упереться чем-нибудь достаточно прочным в зазор между плитами, как следует надавить — и выпустишь на свободу древнее зло. Но топтавшие бетон дети и старики, не испытывая никакого почтения к древней плоти, рисовали на поверхности богохульные, ничего не значащие символы, сотрясали воздух бессмысленной болтовней и криками. Вечерами прогретый воздух готов был забродить от перенасыщавшей его энергии.

В самом центре площадки четыре плиты отсутствовали, обнажая клочок нетронутой земли. По неизвестной причине трава здесь не росла. По сторонам квадрата стояли четыре лавочки. Традиционно их занимали старухи-няньки да редкие молодые матери. Завод, подобно гигантской доменной печи, требовал все больше человеческого материала. Едва успев выкормить ребенка грудью, девушки возвращались на производство, оставляя малышей на попечение родителей-пенсionеров либо предоставленных государством нянек.

Нянькой могла стать любая женщина, достигшая пятидесяти лет, годная по состоянию здоровья и не состоявшая на учете в нарко — и психдиспансере. Однако предпочтение отдавалось шестидесяти — семидесятилетним старухам.

Сидя на лавочках, всегда спиной к безжизненному клочку земли, они вели нескончаемую беседу своими покаркивающими голосами, выводили клюшками на бетоне замысловатые узоры либо просто смотрели перед собой, безмолвно шевеля губами и мелко-мелко тряся головой.

Няньки никогда не наблюдали за тем, что происходит внутри квадрата. Поэтому квадрат являлся одним из немногих мест, где можно было избежать их назойливого внимания. Само собой, Аркаша и его сверстники не преминули этим воспользоваться.

Внутри квадрата происходили самые настоящие земельные баталии, участие в которых могли принять от трех до пяти человек — больше квадрат просто не вмещал.

Раскладным ножом (иногда — шилом) внутри квадрата чертили круг. Разделяли его на несколько частей по числу участников. Затем кидали жребий — кому бросать нож первым.

Суть игры сводилась к тому, чтобы завоевать территорию соперников. Для этого нужно было бросить нож в приглянувшийся клочок земли, после чего через точку, в которую он воткнулся, провести прямую линию. Та часть вражеского участка, которая прилежала к землям бросавшего, переходила в его владения.

Именно здесь, на квадрате, Аркаша впервые сорвался.

Произошло это поздним вечером, когда большая часть завсегдаев игровой площадки разбежалась по домам. Солнце скрылось за пятиэтажкой, которую местные окрестили «стенкой», и двор погрузился в сырую прохладную темень. В быстро сгущающемся сумраке слышались голоса трех задержавшихся на Лазилке девчонок. Они заигрались в «слепую обезьяну» и забыли о времени. Однако уже скоро, очень скоро темноту прорежет голос матери одной из них, и все три, как по команде, будут выдернуты из своей альтернативной реальности, сломя голову побегут домой.

На скамейке сидели две старушки — не няньки, просто местные пенсионерки. Видимо, они не хотели идти домой, потому что там их никто не ждал. Молчаливые и неподвижные, они наблюдали за девочками. Возможно, пытались вспомнить себя в их возрасте.

Четверо мальчишек, среди которых был и наш герой, этим вечером решили не уходить с квадрата до тех пор, пока не выяснят, кто из них достоин звания сильного. Вот уже в восьмой раз приступили они к войне за территорию. Земля внутри квадрата была перепахана и притоптана бесчисленное число раз.

Аркаша был неплохим игроком, но на сей раз оказался в числе аутсайдеров. Клочок земли, на котором он стоял, в ширину составлял от силы сантиметров десять.

Кидать должен был Олег — мальчик на год старше Аркаши, пользовавшийся среди сверстников безграничным уважением. В следующем году он должен был пойти в первый класс. Плюс к этому Олег единственный во дворе владел автомобилем на дистанционном управлении, который привез из Чехии отец-инженер. Эти два обстоя-

ательства ставили авторитет Олега на такой высокий уровень, с которого его не могла сбросить даже привычка регулярно сквозь шорты чесать зад большим пальцем и спустя некоторое время этот же палец засовывать в рот.

По правилам Аркаша мог уйти со своего клочка на время, пока соперник бросал нож. Но он не стал этого делать — ведь тогда он показал бы всем, что опасается за свои ноги. Что он боится.

Не то чтобы его сильно волновало, что о нем подумают товарищи. Просто у всех мальчишек было принято не выходить из круга ни при каких условиях. А Аркаша предпочитал не выбиваться из коллектива, если на то не было особых причин. Поэтому, коротко протараторив про себя услышанную от матери молитву («господии-сусехристесынебожийспасиипомилуймягрешнаго»), он остался на месте, постаравшись придать лицу выражение полного безразличия.

Олег долго целился, высунув кончик языка. Потом коротко приказал:

— Ногу подними.

Аркаша не стал спрашивать, какую ногу надо поднять. Маленькие глазенки Олега смотрели на участок земли рядом с левой.

На секунду показалось, что и без того тихий двор притих еще сильнее, и что все вокруг — Лазилка, фараоны под плитами, деревья, первые звезды — наблюдает за четырьмя фигурками в темноте. Даже старухи-пенсионерки словно шестым чувством уловили скопившуюся на квадрате нервную энергию. И ветер, разошедшийся было к концу дня, на несколько секунд затих, будто ощущая, что вот-вот случится что-то очень важное. Что-то, после чего мир никогда не будет прежним.

В тот момент, когда Олег метнул нож, в комнате, где жили Аркаша с родителями, под потолком лопнула лампа. Один из осколков поцарапал щеку матери.

В последнюю секунду рука Олега изменила направление. Издав короткий шипящий звук, нож вошел в основание большого пальца Аркашиной ноги.

Аркаша не почувствовал боли. Боль была потом, когда врачи внимали засевшее между двух костей лезвие; когда обильно лили на рану перекись водорода. В самом начале он ощутил лишь пустоту.

Пустота росла откуда-то изнутри, увеличиваясь, как заполненный водой презерватив. Готовая лопнуть от собственного внутреннего давления. Мешающая дышать.

На несколько секунд мальчишка отчетливо осознал, что все стоящие в круге хотят его смерти. Нет, не страданий, не увечий — именно смерти. Он почувствовал, как они вливаются взглядами в его лицо.

Ему подумалось, что все они ждут, когда же его лицо исказится от боли.

Ждут — не дождутся, когда Аркаша упадет и будет биться в судорогах, или закричит, или станет со слезами и завываниями прыгать на одной ноге. И тогда его можно будет добить. Можно будет впиться зубами ему в горло, повалить на землю и там, беззащитного, душисть и пинать, пока он не превратится в безжизненный мешок с костями.

А потом он сделал глубокий вдох.

Вместе со вдохом пришла непонятная успокаивающая уверенность. Он словно делался большим-большим и по мере того, как легкие наполнялись воздухом, продолжал расти.

С ножом в правой ступне он шагнул в направлении Олега, оставив на земле влажный темный след.

Руки мальчика вытянулись. Пальцы короткими щупальцами обвили вокруг шеи Олега и плотно сжались.

Здоровой ногой, словно бывалый борец, Аркаша провел подсечку и в мгновение ока очутился у Олега на груди. Вначале он хотел ударить его по переносице, но тут же решил, что этого будет недостаточно. Что надо преподать всем, кто стоит сейчас в круге, хороший урок. Надо напугать их. Иначе они набросятся и разорвут его на части.

Он насколько мог широко раскрыл рот и впился зубами в плечо соперника.

И тут молчавший до этого Олег вышел из оцепенения и принялся кричать. Громко. Высоко. Пронзительно. Как будто где-то внутри у него прочистился забитый клапан.

Аркаша не помнил, как долго он продолжал стискивать зубы; как долго бился под ним Олег, за считанные секунды превратившийся из дворового вожака в жертву. Потом Аркаша ощутил сильный рывок. Он оказался в воздухе и увидел прямо перед собой лицо одной из старух. Лицо было растерянным и испуганным одновременно.

Старушке было от чего растеряться. Она держала в руках мальчика, губы, подбородок и шея которого были вымазаны кровью и который при этом издавал сдавленные хрипы, словно маленький звереныш...

Инцидент удалось замять. Родители Олега на стали выдвигать претензий из-за прокушенного плеча и синяков на шее сына, а Сергей Сергеевич и Любовь Игоревна сделали вид, что забыли о пробитой ножом ноге.

Сергей Сергеевич Шелестов родился в 1950 году в поселке Красные Пески Саратовской области. Однажды, когда Аркашиному отцу было два года, Аркашин дед Сергей Владимирович возвращался на своей моторной лодке из деревни Локтевка, где гостил у двоюродного брата Михаила.

Стояла теплая июльская ночь. Нос лодки резал мелкую рябь, а легкий ветерок обдувал разгоряченное после обильных возлияний лицо.

Это был один из тех моментов, которые хочется если не остановить навсегда, то хотя бы задержать на время. Растянуть. Состояние, которое испытывал Сергей Владимирович, иной назвал бы близким к нирване, а кто-нибудь — так и вовсе катарсисом. Казалось, будет он вечно вот так мчаться по зеркально-черной воде, вырванный из постылой реальности, где ждали сын с ветрянкой и жена, навеки застывший в этой точке невозврата, в отрезке между двумя населенными пунктами — Локтевкой и Красными Песками.

Внезапно сквозь приглушенный рокот мотора до Сергея Владимировича донеслось что-то, очень похожее на слабое пение. «Ить, как вода-то складно урчит», — попробовал отмахнуться от звука Аркашин дед. Но отмахнуться не получилось. Мелодия звучала все громче и громче, и теперь уж точно было ясно — то не журчание, а тонкий девичий голос. Причем доносился он не откуда-нибудь, а из-под воды, будто тот, кто пел, следовал за лодкой, но показываться не хотел.

Сергей Владимирович заглушил мотор. Проскользив бесшумно метров двадцать по водной глади, лодка остановилась и стала тихоно покачиваться.

Некоторое время Сергей Владимирович пристально всматривался в черноту вокруг суденышка и под ним. Пение сделалось тише, а потом и вовсе прекратилось. Мужик потянулся было к мотору — чего, мол, спяну не примерещится — как вдруг снова услышал голос. Причем раздавался он на этот раз отчетливо, не из-под воды, а поверх.

Обернувшись, Шелестов увидел метрах в двух от лодки старика. Тот наполовину высунулся из воды и непонятно каким образом поддерживал свое тело в таком положении. Лицо его искажала гримаса не то боли, не то ненависти — губы вывернуты, глаза навывкате. С огромной бороды стекала вода, а там, где борода кончалась, была видна женская грудь. Причем в отличие от остального тела грудь была молодой, налитой, с аккуратными точечками сосков.

Но самым противоестественным казался голос старика — мелодичный, залиvistый, доносившийся из искривленного рта. Это была

мелодия без слов. Точнее, если слова и были, то Сергей Владимирович разобрать их не мог.

Как долго звучала мелодия, дед Аркаши не помнил. Но вот она перешла в низкое горловое бормотание, а потом резко оборвалась.

Старик молча протянул руку. С кончика указательного пальца сорвалась большая капля. Она падала очень медленно, и предок нашего героя успел разглядеть, как переливается в капле лунный свет. Ему захотелось вечно смотреть на игру маленьких бликов, замурованных в крошечной стеклянной тюрьме.

Наконец, капля ударилась о воду, и в этот миг Сергей Владимирович словно бы со стороны увидел, как он плывет в лодке сквозь плотный утренний туман, а треск мотора разносится на много километров. Постепенно Аркашин дед смог вернуться в свое тело — и его сразу же начала бить сильная дрожь.

Вернувшись домой, Сергей Владимирович неделю провалялся в бреду. Ворочаясь с боку на бок, изредка открывал глаза, глядел по сторонам — словно высматривал кого-то в убогой комнатенке. Завидев иконы в красном углу, хмурился, отворачивался к висевшему на стене ковру с вышитыми лебедями и принимался что-то вполголоса напевать.

Однажды к Шелестовым зашла местная знахарка Анастасия. По имени, правда, ее звали редко. В основном называли Мышью — из-за небольшого росточка и пепельно-серых волос.

Минут двадцать Мышь молча разглядывала свернувшегося под одеялом Шелестова. Потом повернулась к жене Сергея Владимировича, Анне Григорьевне, и нежным, почти детским голоском изрекла:

— Он сонника видел. Теперь долго не протянет.

Услышав это, будущая Аркашина бабушка собралась было зареветь, но Мышь властно вскинула руку и, возвысив голос, сказала:

— Пустое теперь — плакать. Лучше о роде подумай. Тот, кто с Хомой поведался, проклятие на всех потомков навлек.

Анна Григорьевна, шмыгнув носом, вся превратилась в слух.

Мышь рассказала, что их потомки будут страдать от душевных недугов. И что все это продлится до тех пор, пока один из них не потеряет себя. И что того, кто примет на себя этот крест, непременно надо назвать Аркадием.

— Будет он спать не засыпая и видеть то, чего нет. А после того, как его не станет, ваш род очистится, — сказала она и ушла по своим мышьиным делам.

В речи знахарке было много непонятного, но растерявшаяся баба ничего переспрашивать не стала, твердо заучив только насчет имени.

Спустя несколько дней после этого разговора Анна Григорьевна проснулась в четвертом часу утра. В сонной тишине было слышно, как далеко, за сельскими мастерскими, лает потревоженная кем-то собака, а совсем рядом — стоит руку протянуть — посапывает во сне младенец, будущий отец Аркаши.

Поначалу она решила, что ее разбудил лай собаки. Но тут кто-то коснулся руки, и Анна Григорьевна вспомнила — нет, точно такое прикосновение вырвало ее из объятий сна.

Над ней зависло бородатое лицо с блестящими белками глаз. Приготовившись закричать, Анна Григорьевна вдруг признала в лице мужа и немного успокоилась. Впервые с момента своего возвращения из Локтевки Сергей Владимирович поднялся с постели.

Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом муж отчетливо, чеканя каждый слог, попросил:

— Квасу дай.

Перепуганная Анна Григорьевна не сразу сложила для себя два эти слова в осмысленную фразу. Муж тем временем развернулся и, поскрипывая половицами, вышел во двор. Опомившись, Анна Григорьевна выбежала за ним. Но увидела лишь распахнутую калитку в огород.

Через две недели в Свином овраге, который располагался между селом и лесом и в котором иногда обнаруживали тела сельских алкашей (кто замерз, кто шею свернул), нашли голову Сергея Владимировича. Губы были странно сложены, будто перед смертью покойный напевал или насвистывал что-то.

Тела не нашли ни тогда, ни потом.

В течение прошедших с того дня двадцати шести лет Анна Григорьевна наблюдала, как ее сын потихоньку сбивается с пути истинного. Впрочем, формулировка эта в данном случае являлась изначально неверной: для того, чтобы сбиться с пути, его надо обрести. А у будущего отца Аркаши не было в помине не то что пути, но даже мало-мальски намеченной тропки.

Рос он каким-то безвольным, бесхребетным. Обладал богатым воображением, однако фантазии его никогда ни во что не воплощались, так и оставаясь всего лишь фантазиями. Часто можно было увидеть его разгуливающим по двору в одиночестве. При этом он шевелил губами и оживленно жестикулировал. Иногда до стоявшей в темном закутке и старавшейся не выдать своего присутствия матери доносились короткие возгласы и обрывки фраз.

Единственным серьезным увлечением Сережи стала водка.

Он быстро научился пить в одиночестве. Часто, прихватив бутылку, отправлялся в Свиной овраг. Возвращался всегда под утро пьяным и перепуганным. О том, чем занимался и что там видел, никогда не рассказывал.

Когда судьба свела его с направленной в Красные Пески по распределению молодой учительницей Любой, мать вздохнула с облегчением. Люба была девушкой серьезной. Познакомившись с Сергеем, который к тому времени уже полгода валандался без работы, быстро взяла бразды правления в свои руки.

После того, как Люба отработала в селе положенный срок, они с Сергеем уехали в манявшие новыми перспективами и высокой зарплатой Тачки.

Спустя полгода Люба забеременела и вся как-то сразу преобразилась. Из веселой, подвижной студентки быстро перемахнула в разряд зрелых женщин. Теперь никому и в голову не пришло бы называть ее иначе как по имени-отчеству.

К тому моменту, как стало известно о беременности, Анна Григорьевна долго и безуспешно боролась с раком молочной железы. В ответ на радостное письмо снохи дрожащей рукой нацарапала, что приехать повидать малыша не сможет и что Христом-Богом умоляет назвать ребенка (если родится мальчик) Аркадием.

Через месяц Анна Григорьевна отдала Богу душу. Принимавшая в семье все решения Любовь Игоревна из уважения к свекрови выполнила ее последнюю просьбу.

5.

Детский сад, куда ходит Аркаша, расположен рядом с домом. Для того, чтобы попасть в него, нужно пройти сквозь отделанную изнутри кирпичом и разукрашенную неумелыми рисунками арку. Длинная пятиэтажка, в которой живет их семья, имеет квадратную форму, и арка — единственный путь из двора во внешний мир. Сделанные черным углем надписи оповещают о том, что старшеклассница Таня Маркова из восьмого подъезда — шлюха, а пенсионер Иосиф Гуслаев — стукач и педофил. Тут же нарисована большая оранжевая рожица. Она улыбается всем прохожим открытой детской улыбкой. Техническая революция докатится до Тачек еще ой как нескоро. Поэтому символ, который будущее поколение обзовет английским аналогом слова «улыбка» с добавленным русским суффиксом, может оставаться собой — то есть просто веселой рожицей — и не париться.

По обе стороны от выхода из арки стоят два вяза. Вид у них настолько древний, что, кажется, растут они здесь с тех времен, когда никаких Тачек и в проекте не было; не было даже деревушки, которую затопило после запуска Тачкинской плотины. А была только бескрайняя степь с беснующимся на ветру ковылем, которую населяли скуластые коротконогие всадники.

Аркаша за руку с мамой проходит арку и вязы. Видит забор садика. Он не высокий и не низкий — ровно такой, чтобы ребенок не смог перемахнуть (а если вдруг решит попробовать, воспитатель всегда успеет до него дотянуться).

Забор регулярно подкрашивают, поэтому независимо от сезона и времени суток он поражает своей ослепительной желтизной. Даже по ночам краска, кажется, излучает слабое свечение, словно обозначая некую границу.

Когда Аркаша сквозь узкую калитку попадает на территорию садика, он ощущает токи холодного воздуха, которые идут из центра, из самого здания. Асфальтовая дорожка под ногами издает глухой звук. Никакой — вот наилучшее определение для этого звука. Не высокий и не низкий. Не диссонирующий и не мелодичный. Он не несет никакой информации.

Ночью прошел дождь. В утреннем тумане повис запах сырой листвы. Он смешивается с запахом чего-то съестного, который доносится из кухни. Запах тоже впрямую назвать никаким.

Темноту впереди разрезает вертикальная желтая полоска. Она становится шире и шире, пока не превращается в прямоугольник дверного проема. Изнутри выглядывает нянечка и приветливо машет рукой.

Аркашу подталкивают к входу. Обернувшись, он видит исчезающий в дымке мамин силуэт. Не успевает он раствориться, как мальчик ощущает чьи-то руки у себя на плечах. Направляемый ими, он попадает внутрь.

Коридор, по которому идет мальчик, кажется бесконечным. Со стен на него смотрят Буратины, Винни-Пухи и Коты Леопольды, которые вроде бы должны быть веселыми, но почему-то таковыми не кажутся. Цветы в больших кадках словно застыли в безвременье. Сам воздух здесь пахнет вечностью. Вечность обрушивается на плечи вместе с казенными лучами флуоресцентных ламп. Она слышится в поступи нянечки за спиной.

Из коридора Аркаша попадает в большую комнату. В этот момент везде — в комнате и в коридоре — гаснет свет. На несколько секунд находящиеся внутри дети и воспитатели оказываются в темноте. Затем серые рассветные лучи запоздало и словно бы с неохотой

той пробиваются сквозь окна. Воцарившуюся было тишину нарушают детские голоса. В пепельном свете детвора продолжает свое броуновское движение.

Со стороны действия человечков могут показаться хаотичными. Подобно микроскопическим частицам в капле воды, они передвигаются по комнате самыми неожиданными углами и траекториями. Но внимательный наблюдатель может выделить в этом кажущемся хаосе, в этом птичьем базаре несколько группок; несколько маленьких мирков, каждый из которых живет согласно определенным правилам.

Слева от входной двери четверо мальчиков, повернувшись спиной к сверстникам, продолжают начатые накануне баталии, главные действующие лица в которых — ковбои и индейцы. Правда, пластиковых покорителей Дикого запада и их извечных врагов недостаточно, поэтому в ход идут «коллеги по цеху». Рыцари, гусары, викинги и солдаты второй мировой сходятся в битве не на жизнь, а на смерть.

По центру ковра несколько девочек затеяли возню в дочки-матери. Как и в предыдущем случае, здесь царит полная анархия: большие, чуть ли не с самих девочек, куклы состоят в родственных отношениях с крошечными пупсами. Тот факт, что в реальной жизни такие гиганты ну никак не могли бы стать мамами таких лилипутов, никого не смущает.

Бурная деятельность развернулась у окна. Здесь смешанная группа из малышей обоих полов оккупировала расставленные по подоконнику горшки с цветами. Девочки протягивают мальчикам что-то маленькое, тщательно скрываемое от посторонних глаз. Те, в свою очередь, прячут это в карликовые заросли. Предмет их манипуляций является для окружающих тайной. Пусть он останется таковым и для читателя.

Между тремя сообществами, словно маленькие разведчики, снуют те, кому еще не удалось найти свою компанию. Они то и дело оглядываются по сторонам, затем принимаются делать вид, что играют в игру, правила которой известны только им. На самом деле никакой игры нет, и цель у всех одна — привлечь к себе внимание.

К этим отбившимся от стада ягнятам присоединяется и наш герой. Всем своим поведением — жестами, мимикой, громким смехом — он словно заявляет: «Смотрите, вот он я! Здесь, на ковре, рядом с вами! Стоит вам только отвлечься от своих солдат и кукол, стоит только обернуться — и увидите меня, и сразу же полюбите, и поймете, что со мной интересно; что нужно непременно быть вместе со мной, нужно непременно принять меня».

Но сегодня ни один из мирков не открывается навстречу Аркаше. Ни одна планета не поворачивается к нему дневной стороной. Когда голос воспитателя зовет всех завтракать, он идет в столовую опечаленный и растерянный.

Вечером Любовь Игоревна застаёт сына в компании таких же, как он, маленьких неудачников, которым не повезло найти партнеров по играм — и в итоге они нашли друг друга. Отделившись от остальных, дети облюбовали растущий рядом с забором куст боярышника.

Под вечер из-за низких тяжелых облаков выглянуло солнце. Неожиданное и оттого вдвойне приятное, оно дисгармонирует с холодными лужами, с повисшей в воздухе сыростью. Солнце очерчивает контуры куста, который в свою очередь бросает на детские лица причудливые абстрактные тени. Но четверо собратьев по несчастью не замечают их. Они расселись на корточках перед наполовину зарытой в землю пивной бутылкой. Бутылка на четверть заполнена мутной водой, в которой барахтается какое-то насекомое — одно из последних, не успевшее еще умереть или спрятаться в кору, в землю, в палую листву.

За их спинами, как карликовый шаман, движется Аркаша. Он довольно потирает ладони, улыбается чему-то, приплясывает и временами замирает на месте.

Любовь Игоревна здороваётся с воспитательницей. Интересуется, хорошо ли ее ребенок сегодня себя вел. Зовет сына.

Услышав голос матери, Аркаша прерывает свой ритуал и бежит ей навстречу. На ходу спотыкается о торчащий из земли камень.

— Бля! — вырывается из детского рта. После чего Аркаша встает, молча отряхивается и продолжает свой путь к маме.

Любовь Игоревна внутренне съеживается, искоса поглядывает на воспитательницу. Та сосредоточенно смотрит в сторону. Но Аркашина мама понимает, что воспитательница все прекрасно слышала и наверняка мысленно уже предвкушает, как будет рассказывать коллегам о пятилетнем мальчике, который упал и грязно выругался. И о том, как густо покраснела его мать.

«От отца, наверное, услышал», — думает Любовь Игоревна и знает, что воспитательница сейчас наверняка размышляет о том же самом.

Схватив сына за руку, она тащит его к железным воротцам, за которыми ее ждет спасение от позора, выдавив на ходу: «До свидания».

Говорят, что мать Адольфа Шикльгрубера долго не могла забеременеть. И когда она, наконец, произвела на свет сына, ее муж поднял мальчика к солнцу и произнес: «Вот родился человек на счастье всему миру». История, таким образом, сыграла злую шутку — как с отдельно взятым семейством, так и с человечеством в целом.

В жизни Любви Игоревны Шелестовой (в девичестве Семаковой) никаких ироний и противоречий не было, начиная с самого момента рождения. Скорее наоборот.

Люба родилась здоровой, крепкой девочкой. Едва появившись на свет, переполошила маленькую больницу села Николаевка не по детски сильным, звучным криком — словно оповещала мир о своем пришествии. Принимавший роды пожилой врач, улыбнувшись, пробурчал:

— Да... Девчонка будет: ого-го! С характером.

Как в воду глядел эскулап.

С малых лет Любаша проявляла склонность быть всегда и во всем первой. Среди сверстников была заводилой. Общалась больше с мальчишками. Часто заступалась за других девочек, что, конечно, не могло не вызвать благодарность и любовь с их стороны. Порой доходило и до драк. В этих случаях Люба билась свирепо, превращаясь из милой девчужки с косичками в безжалостную маленькую фурию.

Случай, как нельзя лучше характеризующий нрав будущей Аркашиной мамы, произошел, когда ей было четырнадцать лет.

Однажды Любаша поздним вечером возвращалась из школы, где допоздна провозилась с отстающими. Склонность к учительству проявлялась в ней уже тогда — она могла часами сидеть с двоечником, вбивая ему в голову какую-нибудь теорему или химическую формулу.

Путь девочки проходил через узкий переулок. С одной стороны лежал всегда ухоженный огород ее семьи. С другой тянулись бесконечные амбары, сараи, похожие на скелеты вымерших гигантских чудовищ тракторы и комбайны — колхозное имущество.

Дорожку, по которой шла Любаша, пересекала надвое неглубокая канавка. Каждый раз по весне или в сильный дождь по ее дну принимался бежать стремительный ручеек. Все остальное время канавка оставалась веной, по которой из сельских мастерских в реку Купянка стекала солярка, бензин, мазут и прочая гадость искусственного происхождения. Вот и сейчас по дну медленно текло нечто вязкое, вяло поблескивающее в свете бледной нарождающейся луны.

Местами, чтобы не угодить ногой в канавку, Любе приходилось хвататься за плетень, который отделял огород Семачковых от внешнего мира, и прижиматься к нему.

До выхода из переулка предстояло пройти еще метров пятнадцать, потом свернуть направо — и вот он, родной дом.

Внезапно что-то впереди привлекло внимание Любы. В воздухе рядом с одной из колхозных построек висел темный бесформенный предмет.

Любаша была храброй девочкой, однако в груди что-то сжалось.

«А ведь как на человека похоже», — как бы отдельно, сама по себе, возникла мысль.

И в самом деле, несмотря на нечеткие очертания, фигура действительно сильно напоминала человеческую. Выделяющаяся своей чернотой даже на фоне быстро темнеющего неба, она не двигалась, и от этого делалось жутко. Незаметно для себя Люба ойкнула и встала, вцепившись рукой в забор.

«Голова» фигуры висела вровень с краем крыши. «Ноги» находились примерно на расстоянии метра от земли.

Замерев у забора, Люба поняла, что, если вот сейчас поддастся своему страху, то это воспоминание и эта фигура навсегда останутся с ней, поселятся где-то глубоко-глубоко и будут обитать там до самой смерти. И что нельзя слушать тоненький шепоток внутри, который мягко, но настойчиво убеждал развернуться и пойти обратно, до Почтовой улицы, а там топтать до самого гастронома, выйти от него на Советскую и, таким образом, попасть домой с другой стороны — минуя переулок с канавкой и переливающимся всеми цветами радуги ручейком.

И с фигурой.

Разжав пальцы, Люба зашагала вперед. К тому моменту, когда девочка почти поравнялась с силуэтом, сердце ее колотилось так сильно, что барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут и из ушей хлынет вязкая кровь.

Через час, ложась спать, Люба посмеивалась и думала о том, кому же из местных придурков пришло в голову насадить кусок картона на торчащую из сарая доску. И что надо будет завтра обязательно подрядить кого-нибудь из младших снять это непотребство. А то, глядишь, у кого-нибудь из старушек, что в переулок забредут, и впрямь сердце прихватит. И тут уж не до смеху будет.

«Поручу братьям Леонтьевым. Да это, пожалуй, как раз их рук дело. Вот пусть и убирают», — подумала Люба и через минуту уже спала крепким, здоровым сном без сновидений.

Каким образом спустя много лет ее судьба переплелась с судьбой молодого деревенского пьяницы, осталось загадкой для всей семьи — да и для самой Аркашиной родительницы, пожалуй, тоже. Попав по распределению в Красные Пески, она сразу стала объектом ухаживаний местных ребят. Но из всех из них выбрала тихого, мечтательного Сережу. К слову, подошла она к нему сама, для чего пришлось перебороть свою женскую гордость.

По дороге из Красных Песков в Тачки они с Сергеем на пару дней заскочили в ее родную Николаевку. Энергичной Любе не терпелось поскорее показать родителям своего избранника. Уже тогда, знакомая с Сергеем без году неделя, она была необъяснимо, мистически убеждена в том, что ее жизнь отныне будет связана с этим нелепым и странным человеком.

Вдвоем прошли они через калитку — впереди Люба, движениями неуловимо напоминающая сойку, за ней Сергей, рассеянно смотрящий по сторонам, пытающийся казаться серьезным и оттого еще более нелепый.

Щурясь от утреннего солнца, Сергей не заметил прислоненной к избе метлы, и та, задев его тонкой, почти по-женски изящной рукой, упала на банки, которые мать Любы, Ирина Павловна, выставила сушиться на солнце. Одна из банок разбилась с тихим звоном, и от этого звука Сергей весь как-то скукожился — точь-в-точь гусеница, которую сняли с листа и положили на землю.

Таким и увидела в первый раз своего зятя Ирина Павловна, через секунду выглянувшая из сеней. На миг ей показалось, что рядом с дочерью стоит непонятное существо, не то человек, не то птица; что этому существу очень хочется развернуться и выбежать вон со двора. Но уже через мгновение видение исчезло, и перед Ириной Павловной предстал будущий родитель Аркаши, робко и как-то заискивающе улыбающийся потенциальной теще.

Жених вел себя скромно. Разговаривая, часто опускал глаза. Его тихая, вдумчивая речь порой приобретала странную и даже несколько обидную для того, кто был рядом, интонацию: будто говорил он не обращаясь к собеседнику, а так, машинально, произнося звуки и фразы с одной-единственной целью — лишь бы от него побыстрее отвязались.

«Не от мира сего», — подумала теща и про себя окрестила Шелестова Иисусиком.

Лишь вечером, когда все семейство уселось за столом, Шелестов словно на время вырвался из своего мирка. Произошло это следующим образом: когда глава семейства Игорь Александрович, захмелев, затянул заунывную песню — настолько старую, что и

сам уж не помнил всех слов — Любин жених повернулся к нему так резко, что даже воздух, казалось, всколыхнулся. Все повернулись к новичку. В комнате повисла тишина, которую нарушал только сильный бас хозяина.

Шелестов слушал песню с полуоткрытым ртом. Ниточка слюны повисла на нижней губе.

Не обращая внимания на то, что все собравшиеся сосредоточенно смотрят на него и на жениха, Игорь Александрович продолжал петь. Невесть откуда вспомнившаяся песня, правда, быстро надоела ему. Голос начал слабеть и готов был уж совсем сойти на нет. И в этот момент жених запел.

В отличие от голоса Игоря Александровича, голос Шелестова звучал сильно и артистично. Он то плакал, то как будто принимался кого-то обвинять, приобретая истерический оттенок. Но как бы не звучал голос, в нем ощущалась подспудная тяжесть. Она задавала тон всему произведению, тонкими капиллярами пронизывая каждый куплет, сквозной нитью проходя через незамысловатую гармонию.

Сергей пел долго, не прерываясь ни на секунду. Когда он, наконец, закончил, некоторое время все семейство сидело молча. Самые впечатлительные ловили отголоски мелодии, пытались удержать ее в себе. Более прагматичные пытались прикинуть, что же это за человек такой — Шелестов.

Спать улеглись под утро. Накрывая одеялом пьяного зятя (который, спев, вернулся в свою прежнюю шкуру), Нина Павловна поняла две вещи: во-первых — на спине ему лучше не лежать (а то, не ровен час, захлебнется); во-вторых, что человек этот пришел в жизнь ее дочери надолго, скорее всего, навсегда.

7.

За окном ясный зимний полдень. Воскресенье. Когда Александр Сергеевич писал «Мороз и солнце, день чудесный», он наверняка имел в виду такие дни, как этот.

Слепящий золотой свет на стуже, кажется, загустел и превратился в холодный поток. И нет у этого потока преград. Он прольется в любую трещину, просочится в любую щель. А если и видны кое-где тонкие, сжавшиеся ошметки тени, то золотой поток как бы злобно говорит им: «Подождите, родные, вот сейчас чуточку сдвинуть — и не станет вас. А коли появитесь в другом месте — так и это не беда. Завтра поднимусь и снова погоню вас с восточной стороны». И не важно, что завтра солнца, скорее всего, уже не будет, а будет лишь тусклая мгла. Наоборот, светило, словно чуя, что власть

дана ему ненадолго, старается попользоваться ей сполна. И весь мир вторит ему, ненадолго сойдя с ума.

Первая в этом списке сумасшедших — детвора.

Плиты детской площадки и все пространство вокруг Лазилки покрыты слоем плотного, утрамбованного бесчисленным количеством маленьких ножек снега. Лежащие под плитами фараоны сквозь вековой сон слышат приглушенные голоса и ощущают слабую вибрацию. Прямо над ними маленькие безумцы с раскрасневшимися лицами, щедро даримые солнечной энергией, носятся по площадке. Их пальтишки мокры изнутри от легкого детского пота, а снаружи — от налипшего снега. В их счастливом, не обремененном взрослыми мыслями сознании работает одна установка, самая важная и искренняя: жить здесь и сейчас.

Аркаши нет среди сверстников. Он дома. Он не замечает всей этой счастливой солнечной суеты за окном.

В этом году Аркаша пошел в первый класс. По такому случаю мама подарила ему новый конструктор. Подарок, правда, запоздал: железный гость появился в их доме лишь в зимние каникулы. И вот наконец-то долгожданный момент настал; наконец-то он открыл коробку и приступил к сборке.

Как всегда, Аркаша не знает, что получится у него в итоге, какой результат будет достигнут спустя долгие часы сосредоточенной работы. В его голове — лишь смутный образ, бесформенная конструкция, все контуры и детали которой условны. Он поглаживает алюминиевые панели, проводит пальцами по планкам, придиричливо разглядывает пластмассовые колесики и хмурится при виде заусенцев — несущественного, но досадного брака.

Первого сентября в школу его привел отец. Любовь Игоревна этот день, как обычно, была вынуждена провести с чужими детьми. Она хотела отпроситься, но директор Руслан Халитович — стройный мужчина с густыми бровями и слишком длинной для его статуса стрижкой — сказал категоричное «нет». Оно и понятно: дети не должны оставаться первого сентября без классного руководителя. Ничего не оставалось кроме как подчиниться воле начальства и, стоя в толпе шестиклассников, ждать, когда же все наконец разойдутся по домам.

Когда Сергей Сергеевич подвел сына к школьному крыльцу, тот сначала подумал, что утонет в этом буйстве цветов и звуков, и всерьез содрогнулся от одной только мысли, каково это — потеряться в толпе сверстников. Он чувствовал пульсацию крови, отдававшуюся гулкими ухающими ударами по барабанным перепонкам.

Он оглох бы от этих ударов, если бы не спасительный гомон вокруг, отвлекающий от внутреннего шума. Обрывки фраз, междометия, оптимистичное и пока еще не набившее оскомину «дважды два — четыре».

Потом откуда-то появился будущий одноклассник Витя. Новые лица обступили его со всех сторон. Олеся, Сережа, Лена, Юля, Стас. В ближайшее время они войдут в его жизнь, станут партнерами по играм и героями фантазий. Следуя за этими лицами по темным коридорам университета жизни, он усвоит первый и самый жестокий урок — урок одиночества.

Маленькие пальцы уверенно извлекают кусочки железа с закругленными краями из пакетиков и пластиковых отсеков. Солнечные блики играют на гранях деталей. Собрав их вместе и, как настоящий гений, убрав все лишнее, он произведет на свет фетиши, тотемы. С их помощью он откроет ворота в другой мир, где он — нет, не царь и не бог! — но всегда очарованный наблюдатель, готовый расплакаться от красоты, что открывается его взгляду.

Начиная с первого класса, жизнь Аркаши окончательно и бесповоротно раскололась на две части: в школе и вне нее.

Школа №82, в которую определили мальчика, находилась через четыре квартала от дома. Отцу скоро должны были выдать квартиру, и родители решили — последнее слово, конечно, было за Любовью Игоревной — сразу же определить сына в школу поближе к будущему дому. Соответственно, в отличие от своих сверстников, он был лишен возможности видаться с одноклассниками после уроков. Правда, чем старше он будет становиться, тем чаще станет задерживаться в окрестностях школы; но для одноклассников Аркадий Шелестов навсегда останется чужаком.

Зависть, подобно смоченному укусом шипу, будет колоть его каждый раз, когда на перемене он услышит:

- ...А пошли сегодня после уроков ко мне!
- ...Помнишь, вчера Иркина кошка на дерево залезла?
- ...и сегодня продолжим. Заходи за мной часов в пять.

Он будет жадно ловить обрывки фраз, и сквозь этот разноголосый ропот услышит мелодию другой жизни — жизни, в которой людей объединяют общие интересы и знакомые, которая не заканчивается после уроков, а лишь вступает в другую, более интересную стадию.

Аркаша все чаще замечает, что старые дворовые товарищи постепенно стали забывать его. И это вполне логично — теперь, поми-

мо игр на детской площадке, их объединяет еще и учеба в одной школе, а Аркаша идет учиться за четыре квартала.

Только Аркаша не хочет следовать никакой логике — да и какая логика может быть в семь лет? Он видит, что Олег, с которым, несмотря на драку и искусанное плечо, они продолжали дружить, все реже заходит к нему. Вот и сейчас, если бы не конструктор, Аркаша мог бы выйти во двор и присоединиться к солнечно-снежному празднику. И его бы приняли, его бы взяли к себе — но взяли бы так, как берут с собой на улицу собаку: скорее из необходимости, нежели от большого желания.

Спустя несколько лет Аркаша купит кассету с двумя альбомами «Агаты Кристи» (по одному на каждой стороне). Когда будет играть одна из песен, он застынет на кухне с тарелкой в руке. В припеве он услышит слова, которыми сможет определить состояние, начавшее преследовать его в первом классе, пронесенное через все школьные годы и захваченное во взрослую жизнь — состояние раздвоенности, постоянного пребывания между двумя мирами:

«Ни там, ни тут».

8.

Настоящий воин хорошо знаком с одним из основных законов поединка. Закон этот гласит: если хочешь победить — убери лишние мысли. Сконцентрируйся на схватке. Думай о мече.

Третьеклассник Аркаша Шелестов твердо следует этому правилу. Он стоит, упершись в дверь. Плечи затекли от жуткого, не рассчитанного на детский организм напряжения. Задача мальчика — удержать натиск с другой стороны.

Противостояние длится около десяти минут, но для мальчика они растянулись в вечность. Тот, кто снаружи, гораздо сильнее. Сопrotивляться трудно, очень трудно.

Обессиленный, Аркаша отступает. Но это — лишь стратегический маневр. Передышка. Время, необходимое на то, чтобы дать легким наполниться воздухом, а рукам — нащупать лежащий под столом пластмассовый меч.

Потные ладони стискивают красную рукоятку. Суставы пальцев белеют. Дверь распахивается. Ручка с треском ударяется о стенку шкафа, добавив к множественным выбоинам на лакированной поверхности еще одну.

Думай о мече.

Через расстояние, отделяющее Аркашу от дверного проема и того, кто стоит снаружи, он ощущает знакомый с младенчества запах.

Перегар. Теперь он знает это слово. Только по сравнению с теми годами запах стал сильнее. Значительно сильнее.

Год назад Аркашиному отцу наконец-то выделили жилье, и семья после многолетнего стояния в очереди перебралась из малосемейки в двухкомнатную квартиру. Теперь он жил в соседнем от школы квартале. Через полгода Сергей Сергеевич впервые ушел в запой, а еще через четыре месяца его уволили с завода.

Не успев обжиться на новом месте, Любовь Игоревна была вынуждена вместе с сыном перебраться в зал. Сергею Сергеевичу досталась спальня.

Зал был стратегически более важен, нежели уютная, но маленькая для двух человек спальня. Из зала можно было попасть на балкон. А еще здесь стоял телевизор, перетаскивать который из комнаты в комнату не было никакого желания, и который Сергею Сергеевичу был без надобности. Он предпочитал иное времяпрепровождение.

Расположившись за древним, перекочевавшим из малосемейки письменным столом, Аркашин отец выставлял на его поверхность бутылку, стакан и пепельницу. Они выполняли роль фигур в игре, правила которой были известны только ему и его сопернику.

Однажды Любовь Игоревна вошла в комнату мужа и тут же замерла. Над сидящим за столом Сергеем Сергеевичем, склонившись, нависла большая фигура. За долю секунды Аркашина мама успела разглядеть бороду и странно выпуклую грудь. Фигура что-то не то напевала, не то насвистывала ее мужу, а он отвечал ей. Потом видение исчезло и больше никогда не повторялось. Но каждый раз, заходя в спальню, Любовь Игоревна бросала в сторону стола настороженный взгляд.

Часто по ночам можно было услышать, как Сергей Сергеевич с кем-то разговаривает, а иногда тихонько поет. Если бы кто-нибудь решил в этот момент зайти к нему в комнату, то увидел бы главу семейства с шевелящимися губами, остекленевшим взглядом глядящего в окно — словно тот, с кем он общается, находился по другую сторону.

Думай о мече.

Расстояние между ним и отцом стремительно сокращается. Он слышит хриплое дыхание. Зеленые глаза (они становятся такими, когда отец выпьет, хотя в остальное время серого цвета) смотрят мимо него — возможно, на шифоньер или на ковер за спиной.

Сконцентрируйся.

Его редкие друзья, это, в основном, бывшие дворовые приятели. На новом месте товарищей — таких, с которыми можно играть после школы — он так и не завел.

Когда они заходят к Аркаше в гости, то еще в коридоре ощущают запах пота и перегара. Он видит это по их лицам. И старается побыстрее провести в зал.

Он резко приседает и, сжав меч обеими руками, с размаху наносит рубящий удар по коленям противника.

Заведя друзей в зал, он всегда запирает дверь (замок врезали месяц назад). Они играют, а снаружи, из коридора, доносятся звуки шагов, иногда — стук в дверь. В такие моменты он улыбается и смотрит в сторону, надеясь, что друзья не придадут этим звукам значения. Он словно хочет сказать: «Ну это так, пустяки. Не обращайтесь внимания». Но понимает — они, конечно же, обратят. Потому что их отцы, если и пьют, то не превращаются в вонючих существ с дикими красными глазами и не ломятся в дверь, бормоча: «Сынок, открой». И их матери спят в одной постели с отцами, а не отгораживаются от них дверью, в которую врезан замок.

Противник не чувствует удара и продолжает свой натиск. Аркаша кидается к нему и пытается ухватить за пояс. Безрезультатно.

На секунду Аркаша замечает светящуюся красную нить, которая тянется к существу из спальни, подобно тому, как шланг с воздухом тянется к водолазу. Словно подпитываемое непонятной энергией, оно отталкивает мальчика в сторону и тянет руку к верхнему ящику шкафа.

Мальчик пытается оттащить существо к двери, вытолкнуть его из комнаты. Поняв тщетность своих попыток, бросает меч и бьет соперника в промежность.

Существо вздыхает и на секунду замирает, чуть согнувшись. Потом одной рукой отталкивает Аркашу в сторону, другую тянет к полке шкафчика. К шкатулке, в которой лежат мамыны драгоценности.

Аркашу душат слезы бессилия. Он не смог защитить комнату от вторжения. Не смог спасти шкатулку.

Когда существо выходит из зала, сжимая под мышкой добытый в неравном бою трофей, Аркаша вновь видит красную нить; теперь он понимает, что она больше похожа не на шланг.

Нет. Она скорее напоминает пуповину.

Существо, подобно гигантскому эмбриону, неуклюжей походкой покидает квартиру. Наверное, оно уже представляет себе, как выпь-

ет первый глоток портвейна, который получит в обмен на то, что находится внутри шкатулки. Скорее всего, оно не понимает, что стащить шкатулку жены — это уже не алкоголизм, а воровство.

Не отдавая себе отчета в том, что делает, Аркаша кидается к подоконнику. Хватает одну из «конструкторных» поделок. Отламывает от нее прямоугольный пластмассовый выступ, но тут же, не удовлетворенный этим, швыряет фигуру на пол.

В этот момент с лестницы доносится крик боли. Дойдя до самой высокой ноты, обрывается. Аркаша какое-то время стоит молча, словно ждет, что крик повторится. Потом осторожно, еле передвигая ноги, выходит из квартиры.

Сергей Сергеевич лежит на площадке между третьим и четвертым этажами. Его грудь тяжело вздымается. Правая нога вывернута под неестественным углом...

...Вызванные Аркашей врачи констатировали инсульт. Видимо, он случился в тот момент, когда Сергей Сергеевич спускался по лестнице. Пролетев восемь ступеней, он чудом отделался одной лишь сломанной ногой.

По словам докторов, все могло закончиться гораздо хуже. Например, переломом позвоночника. Или травмой грудной клетки. Или проломленным черепом.

Слушая врачей, вернувшаяся с работы Любовь Игоревна кивала, а Аркаша глядел на людей в халатах невидящими глазами.

Вернувшись домой, он молча принялся собирать разбросанные на полу детали конструктора.

ЧАСТЬ II

ПРОБЫ ПЕРА

9.

Оля смотрит в окно. Внизу, у подъезда останавливается такси. Красивая женщина выходит из машины. Раньше девочка ее не видела.

На женщине розовое полупальто. Высокие сапоги. Волосы темнорусые, с едва заметным каштановым оттенком. Женщина торопится. Считанные секунды — и незнакомку поглощает дом. Женщина не подозревает, что один из жильцов этого дома наблюдает за ней.

Оля кашляет в кулачок, шмыгает носом и тянет руку в карман халата. Халат велик. Он достался от бабушки.

Из глубокого кармана на свет появляется платок с аккуратной вышивкой львенком. Вышивка — Олина работа.

Мигая поворотникам, такси делает крюк и покидает двор.

Из-за угла выходит старушка с большим зеленым зонтом. Ее окатывает водой из-под колес, и от неожиданности старушка чуть не теряет равновесие. Такси, не останавливаясь, едет дальше. Старушка какое-то время кричит вслед машине, потом продолжает свое движение под дождем.

Окно — ее жизнь. Или, во всяком случае, значительная часть жизни.

Когда идет дождь, ей скучно. Потому что на детской площадке нет ребятшек, а у подъездов — стариков. Следовательно, наблюдать не за кем.

Оля смотрит, как вдалеке дымят трубы завода. Дым сливается с небом. Если не приглядываться, может показаться, что это не дым, а продолжение одной из туч.

Каждый, кто отважится выйти из дома в такой дождь, становится объектом ее пристального внимания. И Оля принимается детально изучать его.

Одежда. Обувь. Прическа. Походка. Сумка или пакет в руках. До тех пор, пока человек не скроется за углом.

Старушка проходит двор и исчезает из поля зрения.

Оля дышит на стекло и начинает играть в крестики-нолики. Сама с собой. Очень безопасная игра. Чтобы ни случилось, она и выигрывает, и проигрывает одновременно. То есть в финале ее всегда ждет поражение без поражения.

После нескольких партий Оля протирает стекло сухой мягкой тряпочкой. Мама не любит следы на окнах...

Мама!

Как она могла забыть?

Оля бросает взгляд на электронные часы.

«17:03. Пн. 23 апр.»

Мать скоро придет с работы. Пора готовить ужин.

10.

В седьмом классе отец отдал Аркашу в секцию самбо. Тут, видимо, сыграло свою роль вот какое обстоятельство: несмотря на то, что сам Сергей Сергеевич любовью к спорту, как и особыми физическими данными, никогда не отличался, Аркашин дед был мужиком крепким и в молодости даже несколько лет подряд брал призы на областных соревнованиях по вольной борьбе.

Не ясно, то ли Сергей Сергеевич, несмотря на всегдашнюю свою лень и вялость, в глубине души все же мечтал стать спортсменом и решил реализовать эту свою мечту через сына; то ли он подсознательно желал угодить покойному отцу — но факт оставался фактом: отец привел тринадцатилетнего Аркушу в спортзал, находившийся неподалеку от дома.

Первое, что запомнил маленький Шелестов — то, как в зале пахло потом и как его заставили падать спиной через стоящего на четвереньках соперника. Упав, надо было сильно хлопнуть ладонью по мату. Вначале все у Аркаши выходило неловко, но под конец тренировки уже стало получаться гораздо лучше, и нашему герою даже понравилось падать.

Нельзя сказать, что Шелестов полюбил занятия борьбой. И хотя, приходя домой после тренировок, он обычно пребывал в приподнятом настроении (что даже в те годы было для него редкостью), причиной тому было облегчение: тренировка, наконец, закончилась.

Несмотря на то, что среди товарищей по секции Аркаша ощущал себя скованно, общение с другими ребятами в целом сказалось на нем благоприятным образом. Мальчик на какое-то время был вырван из того тесного мирка, в котором пребывал с начальных классов. Таким образом, Сергей Сергеевич, сам того не ведая, в кои-то веки оказал сыну ценную услугу. Во всяком случае, те трагические события, о которых речь пойдет в свое время, имели бы место гораздо раньше, не окажись мальчик на некоторое время в мире бросков, подсечек, жестких борцовских курток и болевых приемов.

А еще в этом мире были соревнования.

Сергей Сергеевич откомендовал своего сына тренеру (с которым до увольнения трудился на заводе) как существо домашнее, изнеженное, каковым Аркаша, отчасти и являлся. Может быть, поэтому Виктор Васильевич (так звали тренера), вместо того чтобы развить и укрепить в мальчишке бойцовский дух, сам того не замечая, постоянно делал ему всевозможные побрякки.

На своих первых соревнованиях Аркаша, вместо того, чтобы бороться в своей весовой категории — сорок один килограмм — был направлен в категорию до тридцати восьми килограммов и занял в ней второе место. Виктор Васильевич надеялся с помощью такого, как он полагал, хитрого хода повысить самооценку мальчика. Однако Аркаша прекрасно понимал, почему его поставили «не на свой вес»; мальчик он был далеко не глупый, и, как и многие дети, видел и знал гораздо больше, чем привыкли о нем думать взрослые.

Впоследствии Аркаша неоднократно занимал вторые места, а один раз даже стал первым. И в каждом случае он боролся не в своей весовой категории. Другой мальчишка, вполне возможно, остался бы доволен, и, придя домой, хвастался бы победой перед родителями, а грамоту победителя повесил бы на самое видное место. Но Аркаша был не таков и, хотя порой и хвалился в школе своими успехами, в глубине души стеснялся их. Все грамоты лежали в выдвижном ящике письменного стола.

Во время летних каникул у Аркаши начались сильные боли под коленной чашечкой. Промучавшись несколько дней, мальчик рассказал о них матери. Любовь Игоревна, недолго думая, отправилась вместе с сыном к хирургу. Эскулап, пощупав больное место, произнес мудреное латинское словосочетание.

Согласно диагнозу, болезнь Аркаши носила временный характер. Она наблюдалась у некоторых подростков в период полового созревания, и, следовательно, через пару лет должна была прекратиться сама по себе. Однако в течение этих двух лет ни о каких физических нагрузках не могло быть и речи. Аркаша получил освобождение от уроков физкультуры — и, разумеется, строжайший запрет на тренировки.

Виктор Васильевич, выслушав Аркашу, пожал плечами и изрек что-то вроде: «Ну что ж теперь поделаешь...» Мальчику даже показалось, что тренер был рад его уходу.

Отец, узнав о диагнозе и его последствиях, уставился на стену, после чего неожиданно резко (настолько неожиданно, что сам этому удивился) бросил:

— На хрен ты мне теперь нужен?

Аркаша запомнил эту фразу на всю жизнь.

Если чего-то очень сильно захотеть, то обязательно добьешься желаемого результата. Оля верит в это с раннего детства.

Лезвие ножа глухо стучит по доске. От моркови отделяются аккуратные круглые дольки. Голос Виктора Робертовича из магнитолы уверяет, что мы все сошли с ума.

Дождь за окном не прекратился, но в быстро сгущающихся сумерках он словно отступает на второй план. На первый теперь вышли музыка и запахи.

Запах подливки из сковородки. Запах мяса из кастрюли — кстати, пора уже брать ложку и снимать накипь. Еле уловимый аромат специй.

На Цоя Олю «подсадила» Маринка — единственная подруга. Правда, сама Маринка предпочитает что потяжелее: «Сепультуру», «Металлику», «Раммштайн» и «Мунспел». Оля в глубине души тащится от Маринкиной футболки с надписью «Тиамат» на спине. Вместо букв «т» в логотипе использованы перевернутые кресты.

Перевернутые кресты — это, конечно, нехорошо. Потому что сатанизм, как полагает Оля — явление изначально вторичное, а следовательно, ущербное. Оля не по годам умна (времени на чтение книг и размышления у нее предостаточно). Но футболка все равно классная.

Когда Маринка приходит в гости, от нее каждый раз пахнет по-разному. Например, если бы она забежала сейчас (чего не произойдет, потому что сегодня в город приехала «Ария», и Маринка, конечно же, отрывается на концерте где-нибудь в первом ряду), то от ее джинсовой куртки и волос пахло бы дождем. Летом от Маринки пахнет пылью и солнцем (да-да, у солнца тоже есть запах); зимой — снегом и морозом (мороз тоже пахнет, если кто-то не в курсе).

Чем бы от нее не пахло, это всегда запах свободы — то есть, того, чего у нее, Оли, нет.

Морковь нарезана маленькими дольками. Теперь — очередь лука.

Оля нагибается и выдвигает из-под стола картонную коробку. Придирчиво перебирает полусгнившие луковицы. Достав пару, водружает коробку на место.

Пленка заканчивается. Оля два раза нажимает на «Стоп» и переворачивает кассету. Шипение. Первые аккорды.

«Ночь».

Эта песня всегда вызывала у нее странные ощущения. Очаровывала — самое подходящее слово. Особенно ей нравятся строчки: «И это мое дело — любить ночь. И это мое право — уйти в

ть». Наверное, он уже тогда что-то предчувствовал. Знал, как все закончится.

Оля никогда не была пессимисткой. Никогда не впадала в депрессию. В ее-то положении — еще и депрессовать? Ну уж нет!

Почему тогда она полюбила песни группы «Кино»? Ведь от них-то как раз, за редкими исключениями, так и веет безысходностью. Тоской. Одиночеством.

Одиночество. Может, в этом все дело — в том, что в свои тринадцать она может рассказать об одиночестве больше, чем иные взрослые.

Нарезанный лук отправляется в сковородку.

Звонок в дверь.

Не успела.

Мама пришла с работы, а у нее еще ничего не готово.

Оля вздыхает и катит свое тело в инвалидном кресле в коридор.

12.

Как у него получилось?

Аркаша сидит за партой, но мысли его как никогда прежде далеки от синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов. Сонное бормотание преподавателя, скрип мела по доске и шепот одноклассников сливаются в некое подобие фона. Фон способен оттенить, спрятать непрерывный гул в голове. Этот гул возникает каждый раз, когда Аркаша пытается сосредоточиться. Десятки, сотни голосов вразнобой вещают о чем-то, каждый на свой лад. Отвлекают от самого важного. Не дают уцепиться за мысль, поддержать ее в голове. Перемолоть. Разжевать.

На учительнице фиолетово-синие чулки. Они придают ногам трупный оттенок. Волосы окрашены в рыжий цвет. Краска, видимо, должна скрыть седину. Коричневая кофта сливается с доской, и кажется, что в воздухе висит голова, а где-то под ней — две белые морщинистые кисти рук. Одна сжимает большой треугольник, прикладывает к доске. Другая проводит мелом линию.

Как у него получилось?

Необходимо прогнать гул. Забыть об учительнице, о доске, о классе — и понять.

Понять что-то очень важное.

После того, как четыре года назад отца хватил удар, Аркаша не притрагивался к конструктору. Старые поделки никуда не делись и продолжали пылиться на шкафу, но приставания к матери с просьбой

купить новый конструктор резко прекратились. Любовь Игоревна не придавала этому обстоятельству никакого значения. Решила, что сын просто повзрослел.

Никто не находился рядом с Аркашей в тот момент, когда Сергей Сергеевич схватился за сердце и покатился вниз по лестнице. Соответственно, никто не видел, что произошло это сразу же после того, как мальчик швырнул об пол фигуру из конструктора. Никто, кроме самого мальчика.

Уже тогда у Аркаши зародилась мысль, что эти два события как-то связаны между собой. Зародилась и исчезла, потому что была настолько глупой и в то же время пугающей, что развивать ее не захотелось. Однако на инстинктивном уровне, так глубоко, что делалось уж и вовсе жутко, Аркаша почувствовал исходящую от конструктора угрозу.

Это ощущение скрытой угрозы помешало ему выкинуть поделки, взиравшие на него с подоконника словно бы с немым укором. Лишь спустя три месяца он собрался с духом и перенес их на шкаф.

Когда через полтора года мама предложила выкинуть сыну «эти ерундовины», Аркаша побледнел и выдавил:

— Нет, мам. Не надо.

Любовь Игоревна пожала плечами, и, пробормотав: «Странный ты, все-таки. Весь в папашку», — больше к этому вопросу не возвращалась. Так конструктор обосновался наверху шкафа. Аркашина жизнь постепенно вернулась в прежнее русло. Воспоминания о событиях четырехлетней давности потускнели. Так продолжалось до тех пор, пока в седьмом классе Аркаша не познакомился с Киллером.

Сие угрожающее, и, как полагал Аркаша, идиотское прозвище принадлежало одному из шестиклассников восемьдесят второй школы. Несмотря на то, что Киллер (которого, к слову, на самом деле звали Денисом) был на год младше и сантиметров на десять ниже Шелестова, во всем же остальном — то есть в ширине плеч, не по годам суровой внешности и авторитете среди сверстников — он с легкостью мог дать нашему герою фору.

Практически не общаясь с друзьями, Аркаша стал очень много читать. В седьмом классе у него начало резко падать зрение. Худощавый, в очках, уже тогда с длинной стрижкой и отрешенным выражением лица, он являлся полной противоположностью Киллеру. Может быть, именно поэтому последний не упускал случая поддеть, достать Аркашу и повисить тем самым свой статус. Не исключено, что, не будь этой несхожести, ничего и не произошло бы.

Учительница смотрит на класс. На Аркашу — точнее, куда-то сквозь него. Порыв ветра бьет в оконное стекло.

Вчера Киллер подошел к нему и попросил передать тетрадку Эмме Сергеевне (их классной руководительнице). Аркаша сразу понял, что дело тут не в тетради. Просто Киллер (господи, ну откуда у шестиклассника такое прозвище?) знал, что Аркаша не станет ничего передавать. И все, что последовало дальше — плевков под ноги (хорошо хоть не в лицо), толчок в плечо, слово «педрило» и презрительная усмешка — было вполне закономерно.

Раздается звонок, и Аркаша самым первым выбегает из класса. Никого не замечая, мчится к лестнице. Вслед ему летит хрипкое карканье завуча: «Шелестов, смотри по сторонам!» Не извинившись, он несется в раздевалку. Машинально, как робот, натягивает одежду.

Почему он не дал Киллеру отпор? Не показал какой-нибудь борцовский прием?

Почему вместо этого он пришел домой и снял со шкафа фигуру из конструктора, долго сжимал ее в руках, до тех пор, пока пальцы не стали похожи на короткие белые щупальца — а, придя сегодня в школу, случайно узнал, что у Киллера обнаружилась астма? Причем астмой он никогда не болел.

Хрустя первым снегом, он движется в сторону дома, напоминая со стороны мага, быстро-быстро семенящего мимо однообразных домов в свою лабораторию. Изо рта вырываются облачка пара, а под мышкой зажаты книги.

Он должен — нет, обязан — кое в чем убедиться.

13.

Когда Оля появилась на свет, ее отец, Евгений Александрович и мать Наталья Михайловна находились в процессе развода. Живого отца девочка так никогда и не увидела. Оля росла с мамой, и девочку это вполне устраивало. К тому же Оля была девчужкой общительной — даже, можно сказать, гипербобщительной — соответственно, отсутствие одного из родителей с лихвой компенсировалось огромным количеством друзей. Поэтому, когда произошел несчастный случай, Наталья Михайловна всерьез испугалась, что дочь не перенесет свалившегося на нее одиночества.

В то время, когда второклассник Аркаша Шелестов дрался в своей комнате с пьяным отцом, Оля играла с подругами во дворе. Родители недавно записали ее в секцию гимнастики, и она хотела похвастаться своими умениями.

В тот момент, когда Аркаша, отчаявшись остановить Сергея Сергеевича, швырнул конструктор на пол, Оля приготовилась сделать «колесо». Взмахивая руками, она на секунду увидела на одной из лавочек старика со странно сморщенным, словно искаженным какой-то нечеловеческой злобой лицом. В голове ее зазвучало далекое пение, мелодичное и манящее. Оля оттолкнулась ногами и сразу почувствовала резкую боль в позвоночнике.

После того, как Наталья Михайловна узнала, что у ее дочери защемление спинного нерва, и что остаток жизни она проведет в инвалидном кресле, женщина присела на краешек больничной кушетки и по-настоящему расплакалась второй раз в жизни (первый был, когда умер отец). Потом высморкалась в носовой платок и спросила у доктора:

— А в остальном у нее все в порядке? Ну, в смысле, с головой?

Врач поспешил успокоить: «в остальном» у девочки все нормально. Правда, посещать школу из-за травмы она не сможет. Поэтому придется продолжить обучение на дому.

Оля лишилась общения со всеми подругами — кроме Маринки, которая продолжала ходить в гости — но, вопреки опасениям матери, перенесла это обстоятельство довольно легко. Во всяком случае, виду не подала. Наталья Михайловна даже не подозревала о том, что происходит с ее дочерью.

С каждым годом Оля все сильнее чувствовала, что ее переполняет неизвестная сила. Засыпая, уже находясь на грани между сном и бодрствованием, она часто ощущала, как по каждой клеточке тела растекаются волны тепла. Эти волны никогда не пугали ее. Скорее, наоборот: никогда еще она не чувствовала такого покоя. Будто кто-то легонько поглаживал ее — только не по рукам, не по ногам, не по позвоночнику. Кто-то поглаживал ее - всю сразу.

Если бы кто-то подошел к спящей Оле, то увидел бы, что она лежит с открытыми глазами.

14.

Выдыхая облачка пара, Аркаша вваливается в квартиру. Кидает портфель в угол. Ставит ботинки рядом с ковриком для ног — окруженные узором из маленьких грязных ручейков, они напоминают двух близнецов-осьминогов.

В спальне, где по-прежнему живет отец, тихо. Несколько секунд Аркаша борется с искушением заглянуть внутрь.

Несмотря на то, что после инфаркта отец не взял в рот не капли, они с матерью практически не общаются.

В Любви Игоревне словно что-то перегорело. Снаружи она выглядит как прежняя Любовь Шелестова, но внутри у нее будто бы надломился какой-то стержень — и нельзя починить его, невозможно найти ему замену. По-прежнему целеустремленная, но с какой-то новой грустью в глазах, она молча терпит мужа и сына — о чем последние даже не подозревают. Она тихонько, про себя, ждет, когда один из них повзрослеет и покинет ее; что до второго, то в его отношении у Аркашиной мамы неясное предчувствие. Словно скоро что-то должно произойти. Но когда именно и что это будет, ей не ведомо.

Ключ два раза поворачивается в замке. Входя в зал, который они по-прежнему запирают от отца, Аркаша слышит, как из отцовской комнаты доносится тихое пение и видит вспышку света под дверью — наверное, блик от телевизора.

Он нерешительно топчется перед шкафом. Набирается смелости. Кончики пальцев еле заметно подергиваются. Губы шевелятся, словно произносятся заклинание.

Наконец, решившись, он встает на цыпочки и тянет руки к... как бы назвать это?

Фигурой?

Изделием?

Собирая это ребенком, он не давал названий.

Наверное, самое подходящее — Конструктор.

Именно так. Коротко и ясно.

С большой буквы.

А во множественном числе — Конструкторы.

Уже три дня как Аркаша ходит без очков. Они слетели и разбились после того киллеровского толчка в коридоре. А когда не носишь очки, со зрением начинают происходить странные вещи. Предметы начинают казаться ближе или дальше. Неправильная фокусировка рождает сюрреалистичные образы, почти галлюцинации. Привычные вещи выглядят совсем по-другому. Вот и сейчас Аркаше, застывшему на цыпочках с вытянутыми руками, кажется, что один из Конструкторов сам преодолевает оставшиеся до его пальцев сантиметры. Прыгает в руку.

Он чувствует шершавую поверхность. Не холодную и не теплую.

Нейтральную.

«Что-то изображение разыгралось», — успокаивает он себя.

«На самом деле я, наверное, не замирал на цыпочках, а продолжал потихоньку тянуться», — думает он, снимая Конструктор со шкафа.

Аркаша садится за стол. Ставит перед собой Конструктор. Со стороны он похож на художника, который придирчиво осматривает свое творение, высматривает цепким глазом возможные недоработки, ищет ранее не замеченные изъяны.

Конструктор возвышается посреди стола, подобно странному наросту. Он — инородное тело, вторженец. Захватчик, явившийся из далекой страны с одной-единственной целью — разрушать. Всем своим видом он словно говорит — нет, кричит — настольной лампе, стопке тетрадей и глиняной рыбе с торчащими изо рта карандашами: «Вы мне не нравитесь. Никогда не нравились. Наблюдая за вами со шкафа, я содрогался от отвращения. Стоя рядом с собратьями, я представлял себе, как вторгаюсь в ваш тесный мирок и повергаю его в хаос. При этом всерьез и не надеялся, что такой миг настанет. Но теперь я здесь, среди вас, и намерен исправить положение дел». И те, кому предназначены эти слова, кажется, не двигаются не потому, что по природе своей не способны на это: их словно сковала его злая воля, и они, замерев от ужаса, внимают словам уродливого пришельца.

Только сейчас, сидя и разглядывая пластмассовое чудище, Аркаша вспоминает, что забыл снять верхнюю одежду.

Лихим движением — как перед дракой — подросток скидывает куртку, и та красно-белой бесформенной грудой падает у ног. Сверху приземляется шапка.

О чем он, Аркаша Шелестов, думал, собирая ребенком это... изделие? Творение?

«Конструктор, — тут же мысленно поправляет он себя. — Просто Конструктор — и все».

Он смотрит на ковер со схематичными, словно вышитыми по какому-то дурацкому лекалу, рисунками; поднимает глаза на люстру, на телевизор. В его грязно-сером экране отражается вся комната — отражается и искажается, выгибаясь немислимым образом и теряя привычные цвета.

Глубоко вздохнув, Аркаша снова берет конструктор в руки.

Надо разозлиться. Очень сильно разозлиться. По крайней мере в обоих случаях он испытывал сильную, почти нечеловеческую злобу. Злобу, граничащую с отчаянием.

В первый раз он злился на отца, во второй — на Киллера.

Кого бы выбрать теперь?

Оксана.

Да.

Пожалуй, Оксана подойдет.

Ее фамилии он не знает. Знает только, что она учится в одиннадцатом классе. Что у нее длинные черные волосы (кажется, не-

крашенные), длинные ноги и красивые карие глаза. В этих глазах есть что-то азиатское. А еще у нее приятный низкий голос, и двигается она плавно, как бы лениво. Словно ее кто-то заставляет.

И еще она присутствовала при его, Аркашином, позоре. Видела, как Киллер толкнул его. Как Аркаша ничего не предпринял в ответ. Она посмотрела на него и улыбнулась.

«Улыбнулась? Да она чуть не рассмеялась. Она еле удержалась, чтобы не заржать», — думает он, и на его скулах перекатываются желваки.

Заржать. Как не подходит применительно к ней этот глагол. Как контрастирует с ее мягким голосом.

Он ошибался. В ней. Он думал, что она не такая. Та Оксана, о которой он часто думал, и при виде которой внутри словно что-то сжималось, так бы не поступила.

Злоба приходит неожиданно.

Вот он, момент истины.

Аркаша замечает, что Конструктор, если повернуть его под нужным углом, напоминает человеческую фигурку.

Повинуясь минутному всплеску эмоций, Аркаша хватается шариковую ручку и тычет фигурке между ног. Его разум погружается в приятную, обволакивающую темноту. Ощущение, напоминающее оргазм. Яркая вспышка в мозгу и следующие за ней опустошение и покой.

15.

Следующие несколько дней Аркаша тайно наблюдал за Оксаной. Ничего не происходило.

Она не падала с лестницы, ничем не заболела (по крайней мере, глядя на нее такого сказать было нельзя). Не получала травм на физкультуре. В столовой ей в тарелку ни разу не попался кусочек стекла или другой инородный предмет (а с Аркашей такое случилось несколько раз).

Значит, он ошибался. Никакого волшебства. Никакой магической силы у Конструктора нет. Аркаша даже почувствовал облегчение.

Через три месяца она перестала ходить в школу. Аркаша сначала не придавал этому никакого значения. Но очень быстро по классам поползли слухи. Говорили, что она уже пять месяцев как беременна. Что отец — какой-то мужик. Что он даже хотел жениться на девушке и признать ребенка своим. Но тут, неожиданно для всех, случился выкидыш. А еще через две недели Оксана умерла (школьные сплетники говорили, что из-за выкидыша возникли какие-то

осложнения). Но все эти подробности мало интересовали Аркашу. Ему не давала покоя лишь одна мысль.

Три месяца назад, решив поэкспериментировать с Конструктором, он ткнул ручкой пластмассовому «человечку» между ног. То есть туда, откуда у «человечка», если бы он был живой и был бы женского пола, должен выйти ребенок.

Аркаша долго ворочался по ночам, не в силах заснуть. А когда сон, наконец, раскрывал перед ним свои объятия, те оказывались цепкой хваткой кошмара.

Ему снились конструкторные человечки, рожаящие бесформенные куски пластмассы. Избавившись от детенышей, они ползли к Аркаше, указывая на него пупырышками-пальцами, издавая тонкий высокий скрежет, почти визг.

Любовь Игоревна заметила, что сын стал замыкаться в себе. Но не придала этому никакого значения. Все сильнее отдаляясь от него и от мужа, она уделяла все больше внимания работе, и, таким образом, тратила силы на чужих детей.

Не так давно, меняя постельное белье, она заметила на Аркашиных простынях желтые пятна.

«Начал мастурбировать. И теперь переживает, поняв, что я об этом догадалась. Он ведь впечатлительный. Весь в папашку», — подумала она. И в следующую секунду переключилась на проверку домашних заданий.

Мать оказалась права лишь отчасти. Действительно, не так давно ее сын открыл для себя все прелести самоудовлетворения. Но причина произошедших в нем перемен крылась не в этом.

Впервые в жизни Аркаша Шелестов понял, что значит быть грешником. И главным его грехом — тем самым, с которого открывается путь к геенне огненной, языкам пламени, зубовному скрежету и прочим неприятным вещам — была не похоть.

Заповедь, которую он нарушил, гласила: «Не убий».

16.

Годы после инфаркта Сергеевич Шелестов провел в никем не нарушаемом одиночестве. Комната стала не просто местом обитания — она сделалась его маленькой Вселенной. Этот мир отпускал Шелестова-старшего лишь ненадолго, когда он уходил на работу.

Год спустя после увольнения с завода Сергей Сергеевич устроился ночным сторожем и вот уже несколько лет не мог найти ничего более достойного. Если честно, то и не хотел.

Когда Сергей Сергеевич утром возвращался со смены, дверь в комнату захлопывалась за ним подобно тому, как захлопывается крышка пенала, принимая в свое нутро ручку или карандаш. Если бы кто-нибудь наблюдал за Аркашиным отцом в этот момент, то увидел бы, что перед тем как войти в комнату он, приоткрыв дверь, осторожно заглядывает в образовавшуюся щель — словно опасается, что внутри кто-то есть и этот кто-то может не обрадоваться его приходу. Но таких наблюдателей никогда не было: сын и жена к тому времени уже были в школе. Точнее, в школах. Каждый в своей.

После инфаркта Сергей Сергеевич бросил пить. Не смотря на это, отношения с семьей не ладилась. Сын с возрастом делался все нелюдимее, а в последнее время так и вовсе стал похож на молодого монаха-отшельника. Несмотря на все попытки наладить контакт с отпрыском, отец каждый раз натыкался на многослойную, как сэндвич-панель, стену непонимания. Что до жены, то отношения между Сергеем Сергеевичем и Любовью Игоревной лучше всего было бы назвать симбиозом. «Глава семейства» (без кавычек тут не обойтись, потому что никаким главой он, по сути, не был) приносил домой кое-какие деньги, в обмен на что Любовь Игоревна кормила мужа.

Нельзя, однако, сказать, что одиночество Шелестова-старшего было полным.

Жил в его комнате некто. Тот, кого он боялся потревожить, возвращаясь домой по утрам, чье присутствие он ощущал с детства и чьего имени никогда не знал. Да и было ли у него имя? Что-то, какое-то шестое чувство подсказывало Сергею Сергеевичу, что его сосед по комнате является не одушевленным существом, а, скорее, некоей субстанцией. Силой, если угодно.

Пытаясь вспомнить, когда он впервые столкнулся с этой силой, Шелестов-старший погружался в омут детских воспоминаний. Но каждый раз мог выхватить из этого водоворота лишь одно. Скорее это было даже не воспоминание, а фотографический снимок.

На снимке запечатлен закутавшийся в одеяло отец. Правда, в отличие от статичных фотоперсонажей, отец ерзал под одеялом, переворачивался с боку на бок и что-то тихо напевал. Сергей Сергеевич понимал, что «снимок» сделан его собственными глазами, в ту ночь, когда он последний раз видел отца живым.

Аккурат посередине, между мамой и бредящим отцом, стояла фигура. Роста она была невысокого, очертаний неопределенных. Четко вырисовывалось только лицо старика, скривившееся не то в

ушмешке, не то в презрительной гримасе. Как только Сергей Сергеевич начинал пристально вглядываться в лицо, «снимок» исчезал.

В отличие от сына, Шелестов-старший не был склонен к самоанализу. Впечатлительность его не была, как у Аркаши, обрамлена рамками логики. Он предпочитал пропускать через себя потоки информации, не придавая им даже оттенка осмысленности. Часто, сидя перед телевизором или слушая радио (всегда неизменный «Маяк»), он улавливал боковым зрением неясные тени, слышал отдаленную музыку, которая, казалось, играла на какой-то неизвестной частоте. Но тени так и оставались для него лишь тенями, а музыка — только музыкой.

Часами мог он сидеть у окна. Из приемника доносились отголоски фраз и фрагменты незнакомых напевов — словно кто-то обращался к нему издалека. Глаза Сергея Сергеевича постепенно наполнялись слезами, губы начинали шевелиться. Порой лицо его принимало злобное выражение, в глазах принимались тлеть угольки ярости. Похожий на медиума, он отрешенно смотрел в окно — но то, что он там видел, не было реальностью. Самые дикие, самые неожиданные образы проплывали перед его взглядом. Привычные многоэтажки исчезали, их место занимали сельские избы, вместо дорог тянулись заросшие ивами овраги. Пешеходы становились старыми знакомыми. Стоило только захотеть — и любой из них мог оказаться здесь, в комнате; с любым можно было поговорить, поспорить, поругаться. Каждый из этих незримых гостей готов был часами слушать Шелестова-старшего, не перебивая ни на секунду. Выговорившись таким образом, он выключал радио, ложился на старый потертый диван, с головой накрывался одеялом и быстро засыпал.

Порой каким-то шестым чувством он ощущал, что в этом общении с вымышленными персонажами есть что-то глубоко протivoестественное. Может быть, даже извращенное. Что чем дальше, тем сильнее он загоняет самого себя в тупик, затаскивает в черную дыру, из которой возврата уже нет. В такие моменты он чувствовал внутри холодную покальывающую пустоту. И тогда Сергей Сергеевич решал, что, как только жена вернется с работы, он обязательно поговорит с ней. Он не представлял, о чем они будут разговаривать, но знал, что станет говорить до тех пор, пока не произнесет что-то важное. Что-то, о чем он должен был рассказать уже давно.

Просыпаясь под вечер, помня о своем намерении, Сергей Сергеевич садился на краешек дивана.

Вот сейчас он поднимется и пройдет на кухню, откуда доносится еле слышное бульканье и посвист чайника. Но в этот самый момент он замечал, что какая-то из деталей обстановки изменилась. Например, пепельница, утром стоявшая на подоконнике, теперь оказывалась

на столе. Или радиоприемник вместо того, чтобы висеть на стене, валялся в углу. И Шелестов-старший знал, что это все знаки, которые кто-то подает ему. Во всех этих посланиях явственно читалось: «Не смей. Даже и не думай». Тогда он снова забирался под одеяло и долго лежал с закрытыми глазами — до тех пор, пока квартира не погружалась в сонную тишину. Лишь тогда он вороватой походкой проходил в кухню, доставал из холодильника ужин, ел в полной темноте и на цыпочках возвращался обратно. Больше всего в этот момент он боялся столкнуться с кем-нибудь из домашних — а вдруг тогда он не удержится и заговорит с ними? А вдруг возьмет да и расскажет о своем невидимом соседе, как бы нелепо и неправдоподобно это не зазвучало.

Если это случится, произойдет что-то страшное. Не со всей семьей — так с ним точно. В этом он был уверен, как некоторые уверены в том, что число тринадцать приносит несчастье, а рассыпанная соль предвещает ссору.

17.

Когда раздается звонок, Оля уже знает, кто стоит за дверью.

Гости у нее бывают редко. Собственно, посетителей (если не брать в расчет маминых знакомых) можно разделить на три группы. Первую и группой-то назвать нельзя, потому что состоит она из одного человека — Маринки — которая появляется регулярно, но всегда неожиданно.

Ко второй группе можно отнести одноклассниц, в смысле — девочек, с которыми она училась бы, если бы не травма. Они всегда приходят небольшой компанией. Три-четыре человека. Оля чувствует их смущение и сама ощущает то же самое. Она знает, что девочки приходят к ней по просьбе классного руководителя. Оле нравится болтать с ними. Но ей неприятно постоянно чувствовать их скованность. Кажется, будто воздух в комнате делается наэлектризованным, каким-то твердым. Она видит, как они стараются не смотреть на ее кресло. Слышит, как тщательно подбирают слова.

Когда девочки уходят, она чувствует облегчение и уверена, что они ощущают то же самое. Наверное, хорошо, что они приходят редко.

Но сегодня — не их день. Не Маринкин и не одноклассниц. Сегодня вторник, и значит к Оле придет Она.

Услышав звонок, Оля катит кресло к двери.

Мама выглядывает из кухни. Не для того, чтобы открыть дверь — вечером во вторник Оля всегда делает это сама. Наталья Михай-

ловна просто хочет в очередной раз увидеть выражение чистейшего счастья на лице дочери. Будь она другим человеком — непременно приревновала бы Олю к госте.

Но, слава богу, Наталья Михайловна не ревнива. Ей всего лишь нужно в очередной раз увидеть это радостное, почти подобоострастное лицо, удивиться и снова про себя задаться вопросом — что же эта женщина значит для ее дочери? Почему Оля каждый раз при ее появлении расцветает?

Когда эта женщина проходит в коридор, Наталья Михайловна говорит:

— Здравствуйте, Любовь Игоревна, — дожидается ответного приветствия и возвращается в кухню.

Она не видит того, что происходит дальше. Не видит, как Оля берет у учительницы плащ.

— Олечка, не надо, я сама — но девочка упорно тянет руки к одежде.

Человек предвзятый и испорченный мог бы углядеть в том, как Оля смотрит на учительницу, сексуальный подтекст. Но если и есть в этом взгляде эротическая составляющая, то самого чистого и нежного свойства. Потому что произрастает она не из животного влечения, а из искреннего восхищения.

Любовь Игоревна проходит в Олину комнату, а девочка катится за ней. Если бы не инвалидное кресло, Оля запросто могла бы сойти за фрейлину, которая сопровождает королеву в ее покои.

Вот королева, не меняя царственной осанки, пододвигает стул поближе к древнему письменному столу. Выкладывает учебники, пособия, толстую, исписанную убористым (почти мужским) почерком, тетрадь. Восхищенная фрейлина не видит морщинок в уголках глаз, не замечает налета усталости, который придает коже королевы сероватый оттенок.

От учительницы никогда не пахнет духами, и Олю это приводит в восторг. Отсутствие запахов наделяет гостью аурой таинственности. Делает ее загадочной. Не такой, как все.

Урок начинается. Оля показывает домашнее задание. Любовь Игоревна сверяет Олины ответы с записанными в своей тетради. Все сходится, только в одном уравнении допущена ошибка, которую они сразу же вместе разбирают.

— Теперь понятно?

Оля отвечает не сразу. Какое-то время она ловит отзвуки голоса. Ощущает, как они пристают к ковроу на стене, ложатся на палас под ногами — чтобы ненадолго остаться здесь. Чтобы несколько часов пожить с ней.

Во всем, что делает Любовь Игоревна — в интонациях голоса, в каждом движении, чувствуется что-то очень искреннее и одновременно загадочное. Когда она наклоняется над плечом девочки, та ощущает ее дыхание у себя на шее. Теплое, прочно ассоциирующееся с парным молоком и мягкой тканью.

Из подслушанных разговоров учительницы с матерью Оля знает, что Любовь Игоревна живет неподалеку, вместе с мужем и сыном. С мужем она уже давно в разводе, но продолжает сожительствовать. Почему — на этот вопрос и сама не может ответить. Раньше он много пил. После того, как у него случился инфаркт и он, упав с лестницы, чуть не свернул себе шею, муж бросил пить. Но отношения между ними по-прежнему не клеятся.

Когда Оля вырастет, она увидит по телевизору интервью с женщиной-психологом. Та будет рассказывать журналисту, что практически каждая девочка в подростковом возрасте испытывает влюбленность во взрослую представительницу своего пола. Чувство это может быть осознанным или подсознательным. Услышав об этом, Оля улыбнется и вспомнит Любовь Игоревну.

Но сейчас Оля, разумеется, далека от психоанализа и прочих мудреных вещей. Когда урок заканчивается, она снова превращается в фрейлину. Она провожает свою госпожу до двери, помогает одеться — и начинает ждать следующего вторника.

КОНСТРУКТОР

18.

Если попытаться вкратце охарактеризовать период жизни Аркаши с восьмого по одиннадцатый класс, то можно сказать, что это был период самоидентификации. Точнее, попыток самоидентификации. Потому что попытки эти, как и многое (да какое там многое — почти все) из того, что он делал в жизни, ни к чему в конечном итоге не привели.

Вот он — ссутулившийся над книжкой, не слышащий оглушительно барабанившего по оконному стеклу дождя, с головой ушедший в мир фэнтези. В этом мире женщины красивы и доступны, а мужчины сильны и отважны. По дорогам бродят странствующие маги, в черных лесах таятся безымянные чудовища. И где-то там, среди бескрайних степей и полуразрушенных городов, есть место и для него — не страдающего от подростковой болезни с латинским названием, не наставшего астму на Киллера. Не убившего Оксану и ее дочку.

Вот он — окунувшийся в реальность Стивена Кинга, реальность маленьких городков штата Мэн, темных улочек, детских страхов и жутких семейных тайн. Пытающийся с головой закутаться в атмосферу кинговских романов, втиснуться в нее, словно в матку, готовую благополучно принять его обратно.

Вот он в девятом классе, впервые услышавший «Нирвану». Сразу за ней следует полный боекомплект из классиков русского рока. Следующей его страстью становится хэви — металл. Сочетанием драйва и мелодики он надолго покорит сердце Аркаши, заполняя сосущую пустоту внутри, насыщая эмоциями ту часть души, которая, казалось, уже полностью разрушена страхом и чувством вины.

Вот он — десятиклассник — сидит перед преподавателем с гитарой в руках, пытающийся без запинки сыграть «Канцону» Федерико Милано.

Вот он в том же десятом классе, репетирующий что-то холодно-лирическое, заставляющее его сердце сжаться. Он настолько сосредоточен, что не замечает, как дверь приоткрывается и в зал заглядывает Сергей Сергеевич. Выражение лица Шелестова-старшего потрясло бы стороннего наблюдателя. Поначалу можно решить, что на лице Аркашиного отца написано благоговение, но лишь приглядевшись, можно увидеть, что это — самый настоящий ужас. Шелестов-старший долго стоит, замерев. Лишь когда сын прекращает играть,

он тихонько закрывает дверь и идет в свою комнату. Когда Аркаша возобновляет игру, Сергей Сергеевич в своей комнате принимается петь в унисон чистым, красивым голосом. Если бы кто-то видел отца и сына одновременно, то наверняка подметил бы, насколько схожи выражения их лиц.

Вот он в одиннадцатом классе, впервые прочитавший Сергея Довлатова и Генри Миллера. Тогда же он решил поступать на факультет журналистики.

Кажется, жизнь потихоньку начинает налаживаться. Благодаря литературе Аркаша делает первые неуверенные попытки принять себя таким, какой он есть. Принять и простить.

«Я был дураком. Не ведал, что творил», — говорит себе абитуриент Аркадий Шелестов. И от этих слов призраки прошлого не то чтобы исчезают, но отступают куда-то вдаль, на периферию сознания.

Но именно в это время происходят события, отрезающие для Аркаши все пути к отступлению. События, после которых он уже не мог — да и не хотел — ничего изменить.

19.

Конец декабря — а на улице плюсовая температура. Всюду, куда ни глянь, лужи и ручьи. Снег тает, превращается в уродливые грязные кучи. Как туши мертвых зверей. Небо серое — оно и выглядит-то не как небо, а, скорее, как пленка. Мембрана. Люди под ней, подобно гигантским слепым гомункулам, передвигаются, тычутся друг в друга и не знают, как выбраться наружу.

Шелестов-младший стоит по щиколотку в талой воде, в которой плавают еловые иголки и кусочки коры. Он видит, как в могилу погружается гроб с телом Шелестова-старшего, и не чувствует ничего — разве только желание, как и этот кусок дерева с мясной сердцевиной, поглубже уйти во что-нибудь темное, и чтобы сверху тебя прикрыли толстым слоем темноты.

Когда наступает очередь кидать в могилу комья земли, Аркаша сгребает в руку смесь песка и глины. Юноше кажется, что его ком получился самым плотным, самым твердым, и когда он ударяется о крышку гроба, этот звук волнами выплескивается из могилы, ударяет Шелестову в барабанные перепонки, отскакивает и катится дальше — между ветвями берез, от ствола к стволу, постепенно растворяясь в воздухе, смешиваясь с сыростью и запахом хвои.

Возможно, если бы не университетская пьянка четыре дня назад, ничего не произошло бы. Впрочем, Аркаша все сильнее начинает верить в судьбу. Чему быть, того не миновать.

Не алкоголь, так обязательно что-нибудь другое толкнуло его под руку, мозаика обстоятельств непременно сложилась бы таким образом, что отца не оказалось бы в живых. Кто-то незримый разложил перед собой карты Таро и удовлетворено кивнул, когда с одной безгубой ухмылкой оскалилась Смерть.

Ровно четыре дня назад студенты отделения журналистики Тачкинского Государственного Университета отпраздновали в стенах alma mater новый год — шумно, весело, в общем, по-студенчески. Шелестов за школьные годы отвык общаться со сверстниками. Тем не менее, за семестр он успел обзавестись парой приятелей. Вместе с ними на лавочке неподалеку от кафедры зарубежной литературы была распита бутылка «Старой Самары», после чего товарищи решили сбежать еще за одной. Потом еще за одной.

Надо сказать, что опыт употребления алкоголя у Аркаши был практически равен нулю. Поэтому неудивительно, что путь до дома он проделал, петляя из стороны в сторону, как почерк врача с пшмеля.

Аркаша очень боялся попасться на глаза матери. Боялся ее тяжелого взгляда и скрещенных поверх старенького клетчатого халата рук. Но мамы дома не оказалось. Вместо нее на лестничной клетке юношу поджидал свернувшийся калачиком отец.

Впервые за несколько лет Сергей Сергеевич сорвался. Развязался. И то ли с непривычки, то ли на радостях после долгого воздержания переплюнул свою прежнюю норму, в результате чего тело его прямо перед дверью квартиры приняло позу эмбриона. Сознание Шелестова-старшего, надо сказать, тоже не сильно отличалось от сознания зародыша.

В течение полчаса Аркаша, крихтя, затаскивал недееспособного предка вначале в коридор, потом на диван. В тот момент, когда юноша накрыл тело (которое в течение всей процедуры так и не сменило позу) покрывалом, боковым зрением он увидел, как из одного угла в другой метнулась бесформенная тень.

Зайдя в зал, который они с матерью по-прежнему запирали на ключ (скорее в силу привычки, нежели из необходимости), Аркаша включил свет. Едва успев сделать это, он понял, что ему нужно, просто необходимо послушать музыку и направился к стоящей на подоконнике магнитоле.

Где-то посреди пути молодое, непривыкшее к воздействию алкоголя тело Аркаши качнулось вправо — прямо на шкаф.

Шкаф покачнулся, и с его верха на пол полетел один из Конструкторов. В следующую секунду раздался треск, и сотни маленьких деталей разлетелись по паласу.

Желание включить музыку тут же улетучилось. Уставившись на кусочки пластмассы, Аркаша молча постоял пару минут. Потом ногой замел обломки под шкаф. Еще через три минуты он уже лежал под одеялом, немигающим взглядом вперившись в стену.

Так он пролежал до самого утра, слушая, как, не включая свет, в комнату зашла вернувшаяся мать (наверное, опять задержалась у этой девочки — инвалида); как она проходит на кухню, гремит посудой; как тихо дышит во сне.

В соседней комнате лежал отец. Его дыхание Аркаша не слышал. И это пугало юношу. Словно дыхания не слышно не из-за того, что отец далеко, за стенкой, а потому, что тот уже не дышит.

Стук в дверь. Потом голос матери:

— Сережа! Вставай! На работу пора, — с возрастом ее голос не утратил командных ноток.

Спустя пять минут из коридора донеслись слова, которых он ждал всю ночь. Ждал и боялся.

— Алло, «скорая»? У меня муж умер. Приезжайте, — дальше последовал их домашний адрес.

Аркаша резко подтянул ноги к груди и впервые за последние тринадцать лет обмочился.

20.

Что-то в ней изменилось. И без того спокойная, она сделалась еще тише. В глазах появилась грусть. Внутренняя сила, которую Оля всегда чувствовала, никуда не делась, однако словно кто-то загнал эту силу глубоко-глубоко, вколотил сердцевину души, как вкалывают сваи в грунт.

Прошло столько лет, Олины сверстницы успели поступить в институт, а две или три уже женились. Маринка по-прежнему регулярно забегает в гости — врываясь, подобно торнадо, принося ворох новостей и рассказов.

У ее ровесников новые увлечения. Они меняются на глазах. Их тела приобрели новую форму.

Тела тех, кто изредка навещает ее, источают молодую энергию и жажду любви. Ее тело тоже меняется, только кресло не дает этим изменениям произойти так, как нужно.

В ванной она подолгу рассматривает свои некрасивые груди — словно обтянутые прозрачным целлофаном куски ветчины; бледную кожу, которая, наверное, никогда не узнает, что такое настоящий загар. На ноги вообще лучше не смотреть, потому что тогда захочется плакать.

Любовь Игоревна продолжает ходить к Оле. Девушка занимается по специальной программе для физически неполноценных детей.

Специальная программа.

Глубоко-глубоко внутри Оля ненавидит специальную программу. В то же время прекрасно понимает, что, если бы не программа, Любовь Игоревна не стала бы ходить к ней.

Они сидят вдвоем, наклонившись над тетрадкой с загнутыми, потрепанными уголками, и их головы почти соприкасаются.

Они сидят так долго, не замечая, что еще чуть-чуть — и прислонятся друг к другу.

Две женщины.

Одна добровольно отдала свою жизнь мужу и сыну.

У второй ни сына, ни мужа, скорее всего, никогда не будет.

Оля тайком смотрит на лицо Любви Игоревны. Ей кажется, что на нем застыла горечь утраты. Она не знает, что в чертах этого лица поселился страх.

Любовь Игоревна вслух читает задание, а перед ее глазами стоит лицо Аркаши в день похорон. Лицо, которое, если не считать возрастных различий (отсутствие морщин и растительности), как две капли воды похоже на лицо покойного отца.

21.

Если внимательно присмотреться, то остановка напоминает фигурку из трех пластмассовых панелек. Для полного сходства с конструктором недостает только маленьких кругляшек на поверхности.

Поеживаясь на кусачем январском ветру, Аркаша подходит к остановке. Руки в карманах куртки.

Левая рука прижимает к боку пакет с учебниками. Бледное лицо от холода разгладилось, сделавшись похожим на посмертную маску.

Быстро темнеет, и в сгущающемся сумраке черные коробки домов кажутся деталями гигантского Конструктора. Только если в тех Конструкторах, что расположились на шкафу у них дома, присутствует, пусть непонятная, но все-таки логика — то здесь на первый взгляд царит хаос.

Дома похожи на кубики, разбросанные гигантским ребенком.

Если взглянуть на все это сверху, то люди, наверное, уподобятся пылинкам или кусочкам сажки.

Две недели назад, когда после похорон все рассаживались в автобус, Шелестов увидел среди знакомых и родственников бородастое лицо. Именно лицо отпечталось в памяти — ни во что был одет незнакомец, ни какого он был роста, Аркаша не запомнил.

Глаза у лица были устремлены прямо на него, а губы что-то нашептывали. Или напевали. Потом между ним и лицом кто-то прошел, и, когда пространство вновь очистилось, того уже не было.

Вывески на магазине, витрины, рекламные баннеры, перетяги, афиши — все это образует целостную картину, все объединено общей концепцией. Но Шелестов не видит ее, не чувствует взаимосвязи между заснеженными деревьями и пешеходами, которые торопятся побыстрее попасть домой. Или между исходящими паром крышками канализационных люков и проезжающими над ними машинами.

Все, что он видит, предстает частями гигантской мозаики, а точнее — деталями гигантского Конструктора, которые необходимо сложить вместе, скомпановать. Его мысли, гоняющиеся друг за другом, как крысы в лабиринте, не могут остановиться ни на секунду и допустить, что все, что он видит вокруг, делает то, для чего оно и было создано — то есть просто существует.

Шелест покрышек и визг тормозов кажутся ему образчиками жуткой дисгармонии, частицами бездны, коей является весь мир. Голосами самых могущественных демонов они призывают его присоединиться к безумию.

Когда после похорон он самым последним сел в автобус, ему показалось, что вместо утробного урчания мотора откуда-то снизу донеслось горловое пение. Лица остальных пассажиров показались ему отвратительными. Какими-то неживыми. Еще большее отвращение он испытал, когда увидел их на поминках. Некоторые еще пытались изображать скорбь, но большинство уже сбросило с себя маску сочувствия и всюю принялось уплетать пироги и запивать их водкой. Ему тогда захотелось взять нож и полосовать их — до тех пор, пока оттуда, где должны быть лица, не будут свисать кровавые лохмотья.

Не дождавшись своего троллейбуса, Аркаша переходит дорогу и начинает получасовой путь до дома.

Когда выплывающие из темноты люди проходят мимо, он следит за ними боковым зрением.

Люди претерпевают удивительные метаморфозы. Их движения становятся угловатыми, а силуэты сплошь состоят из ломаных прямых.

Чертыхнувшись, Шелестов запрещает себе следить за фигурками. Но через некоторое время с каким-то мазохистским упоением вновь принимается наблюдать за ними.

На фоне темнеющего, почти черного неба углы зданий и светящиеся надписи на вывесках начинают двигаться. Углы состыкуются, примыкают друг к другу. Горящие окна кажутся россыпями страз — их цвет зависит от цвета занавесок. Эти россыпи образуют новые, неизвестные созвездия. Словно астролог, юноша разглядывает

вает их, пытаясь проникнуть в тайный смысл. С упорством ученого-фанатика он вглядывается в причудливые очертания, закрывает глаза, стараясь их запомнить. Но созвездий слишком много. Слишком трудно выделить из этого хаоса схожие, повторяющиеся элементы. И Шелестов, обескураженный, сбитый с толку, идет домой — туда, где с двухметровой высоты шкафа взирает, готовый спуститься в этот мир, его бог. Бог, от служения которому он так долго и, как показывает время, безуспешно пытался уклониться.

22.

Месяц спустя после смерти Шелестова-старшего Аркаша перебрался в комнату отца. Собственно, «переезд» не занял много времени. Вместе с вещами (главным образом, одеждой) и книгами в спальню перебрался старенький компьютер, который подарила тетка и который до этого занимал половину письменного стола в зале.

Конструктор Шелестов не тронул. Он прекрасно понимал, что теперь между ним и пластмассовыми статуэтками установилась прочная, незримая связь, нарушить которую не в состоянии никто и ничто. Тем не менее, Конструкторы остались стоять в шкафу. Ему не хотелось лишний раз их видеть.

Когда Аркаша заходил в зал (перешедший теперь в полноправное владение матери) и искоса поглядывал на Конструкторы — он избегал смотреть на них прямо — он был уверен, что каждый раз они меняют положение. И воспринимал тот факт, что неодушевленные предметы могут двигаться, со спокойствием, как нечто естественное и само собой разумеющееся. С каждым днем, с каждым часом и каждой минутой он все сильнее привыкал существовать в сюрреалистичном, фантастическом пространстве, в какое постепенно превращался окружающий мир.

23.

Запах.

Он постоянно висит в воздухе, окутывает всю комнату незримой вуалью. Несмотря на то, что Аркаша каждый день настежь открывает окно, провоцируя тем самым недовольство со стороны Любви Игоревны («Сынок, застудишь ведь и меня и себя!»), запах никуда не исчезает. Он пронизывает молекулярную структуру каждого предмета в спальне, въедаясь в ткань, в дерево, в линолеум.

Запаха дрянного табака из самокруток, которые курил отец.

Удивительно, как это они с матерью раньше ничего не замечали.

Раньше, заглядывая к отцу в комнату, Аркаша пару раз заставлял того с самокруткой, зажатой в тонких бледных пальцах. Но никогда не ощущал такой вони. И уж тем более ни разу струйки дыма не выби­рались из комнаты — в коридор, на кухню или в зал. Словно какая-то сила удерживала их в комнате Шелестова-старшего, позво­ляя впитываться в предметы, но не давая вырваться наружу.

Запах отвлекает, не дает сосредоточиться на докладе по антич­ной литературе, который должен быть готов завтра. Невидимой заслонкой встает между молодым человеком и белым экраном мони­тора. Заставляет смотреть в окно, на мебель, на стены с пожелтев­шими обоями — куда угодно, только не на дисплей.

Со дня переселения прошло две недели, и Аркаша все сильнее чувствует, что начинает сливаться с комнатой. Проникаться ее ат­мосферой.

Иногда он ощущает слабую вибрацию воздуха. Когда это про­исходит, Шелестов-младший на миг задерживает дыхание. К ушам приливает кровь. Кожу начинают покалывать тысячи иголок.

В воздухе комнаты, в стенах, в оконных стеклах он ощущает что-то знакомое. Родное. Словно что-то ждало его, Аркадия Шеле­стова, с нетерпением отсчитывало моменты до их встречи — и вот она, наконец, настала.

По стене пробегает тень. Слабый блик мелькает на покрытом измо­розью окне. Аркаша не оборачивается, не глядит по сторонам. За две недели он привык к постоянному ощущению чьего-то присутствия.

Кто-то живет в комнате. И отец знал об этом. Годами они жили вдвоем, спасая друг друга от одиночества. И все это время Шеле­стов-старший был едой, элементом питания, зарядным устройством для того, второго.

Откуда он знает все это? У него нет ответа. Просто знает — и все. Информация потоками проходит сквозь него.

Аркаша ложится на диван — так же, как до этого тысячи раз делал отец — и из-под полуприкрытых век наблюдает за передви­жением теней по стене.

Засидевшаяся за проверкой тетрадей Любовь Игоревна слышит, как в спальне щелкает выключатель.

Что-то забытое, и, казалось, давно уже отмершее, просыпается в ней — и она про себя желает ему спокойной ночи.

Любовь Игоревна не знает, что свет выключил не ее сын. Что тот, кто сделал это, стоит сейчас над диваном, на котором лежит Аркаша, уставившийся в потолок широко открытыми слезящимися глазами. Губы его шевелятся, выгалкивая наружу тихую, замысло­ватую мелодию.

«А он придет и приведет за собой весну
И рассеет серых туч войска
И когда мы все посмотрим в глаза ему
На нас из глаз его посмотрит тоска».

Да, вот весны-то сейчас не хватает. Или, по крайней мере, тепла.

Оля занимает свое любимое место — закуток между письменным столом и стеной, ширины которого хватает ровно настолько, чтобы подкатить кресло к окну.

Второй день ей нездоровится. В горле першит. Из носа течет. Кости ломит. Бррр...

Девушка морщится и поводит плечами.

Погода за окном под стать самочувствию. По двору мечется бесноватая вьюга, швыряет в стекло пригоршни мелкой белой крошки. На термометре — минус тридцать семь.

Стужа посадила под домашний арест всю детвору. Во дворе пусто. Если не обращать внимания на появляющийся по мере того, как темнеет, свет в окнах, то может показаться, что город вымер, а редкие прохожие — последние люди. Злые, напуганные, они мечутся по городу в поисках тепла.

Полчаса назад звонила Любовь Игоревна. Сказала, что простудилась и сегодня не придет. Голос у нее был извиняющимся. Оля сказала — ничего страшного, она и сама болеет. Учительница пошутила: дескать, тогда вообще нет смысла проводить урок, а то они зачихают друг друга насмерть.

«Зачихают». Они посмеялись в трубку.

Оля вспоминает голос Любви Игоревны, их разговор — и улыбается.

Из подъезда выходит ссутулившийся мужичок. Прикрывая лицо воротником пальто, быстро семенит к машине. Не дойдя пару метров, падает.

«Что ни тронь, все лед». Да, Виктор Робертович, вы были правы. Правда, он, наверное, про какой-то другой лед пел. Про тот, что у людей внутри.

До мужичка далеко, но Оля вдруг крупным планом видит его лицо. Застывшую на нем гримасу боли.

Если смотреть на человека сверху, то видно окутывающую его красную ауру.

Красный значит «боль».

Красный кружок пульсирует. Оля слышит слабый звон — скорее, даже, не звон, а писк.

Мужичок пытается подняться.

Падает.

Приглядевшись, Оля различает опутывающие левую ногу красные линии.

Человек кажется очень маленьким.

Не человеком — человечком.

Оля смотрит на него, приподнявшись, насколько возможно, на руках. Человечек похож на извивающуюся личинку.

Девушка чертит на окне линию. Фигурка оказывается замкнутой в круг. Девушка откидывается в кресле, тяжело дыша.

Кажется, температура поднялась. Появилась головная боль.

Чихнув, Оля снова поднимается в кресле. Смотрит в окно.

Человечек сидит с удивленным лицом. Красная аура исчезла.

Отряхнувшись, мужичок садится в машину.

25.

«Вот тебе и первый сексуальный опыт».

Аркаша делает механические движения.

Туда-сюда.

Вжик-вжик.

Хлюп-хлюп.

Партнерша — Аня — тихонько постанывает на стареньком диване, но Аркаша не слышит ее.

Раньше он думал, что секс и любовь стоят рядом. Что секс дает не только телесные, но и незабываемые душевные переживания. Теперь он понимает, что секс — это просто трение. Обмен жидкостями. Лежащее плашмя существо. Постановывания-поскуливания. Даже в порнухе все выглядит куда красивее.

«Кожа. До чего грубая кожа. И изо рта пахнет».

«Ага. И еще потом воняет», — хриплый, но по-своему красивый голос в голове Аркаши.

Шелестов замирает. В этот момент его детородный орган напрягается. Мышцы нижней части туловища сводит легкая судорога.

Аня улыбается:

— Минут восемь. Для первого раза неплохо.

Шелестов перекатывается на спину. Осторожно, чтобы не накапать на простыни, снимает презерватив. Встает. Подходит к окну. Открывает форточку. Выкидывает резинку. Забирается обратно под одеяло.

Аня прижимается к нему. Кладет голову на грудь. На секунду Шелестов ощущает приступ паники — словно он может задохнуться под ее весом.

Перед тем, как перепихнуться, они с Аней встречались около недели. Она на год младше. Сильно удивилась, когда узнала, что он еще девственник.

Шелестов смотрит на Анину сумочку. Сейчас она лежит на столе, а полчаса назад, кажется, валялась у дивана. Он уже привык к таким перестановкам. Вещи постоянно оказываются не там, где их оставили. Некоторые вообще пропадают.

Аня что-то шепчет ему на ухо. Что-то насчет того, что он очень милый, хотя и слишком серьезный. Он морщится. Щекотно.

Он говорит:

— Хочешь, покажу фокус?

Аня кивает.

Аркаша натягивает трусы и идет в зал — туда, где на шкафу стоят Конструкторы.

26.

Третий день Оля не найдет себе места. Она постоянно передвигается по квартире. Несколько раз уже натолкнулась креслом на Наталью Михайловну.

Иногда она закатывает кресло в закуток между стеной и столом — и подолгу смотрит в окно.

Произошло что-то страшное, и это как-то связано с Любовью Игоревной

Уверенность появилась в тот момент, когда подвернувший ногу мужичок поднялся и пошел. Она тогда еще пощупала: «Встань, Лазарь, и иди». Но тут же шлепнула себя по губам.

Окно вдруг сделалось зеркально-черным, и в этом зеркале она увидела лицо какого-то старика.

Лицо улыбалось.

Оля кинулась к телефону. Несколько раз начинала набирать домашний номер Любви Игоревны. Но, не успев набрать, бросала трубку. Что она скажет, когда на том конце провода ответят? «Здравствуйте, я увидела старика в зеркале, и решила позвонить, чтобы узнать — все ли у вас в порядке?»

Но на самом деле ее останавливает не это.

На самом деле она боится, что голос на другом конце провода — голос сына — скажет: «Любовь Игоревна плохо себя чувствует».

Или: «Любовь Игоревна в больнице».

Или что-нибудь похуже. Например: «Любовь Игоревна умерла». Поэтому Оля ждет. До вторника.

27.

Шелестов кладет трубку.

Четвертый раз за вечер он набирает номер Ани, и четвертый раз слышит один и тот же ответ.

— Ани нет дома.

Три дня назад, когда она уходила от него, ее состояние можно было назвать, мягко говоря, не совсем нормальным. С трудом натянула одежду. Долго стояла перед дверями лифта. Вошла внутрь лишь после того, как он легонько подтолкнул ее. С того момента, как он показал ей фокус, не проронила ни слова.

Фокус.

Три дня назад он на цыпочках прошел мимо спящей матери. Снял со шкафа Конструктор. Вернулся в комнату.

Аня сидела на разложенном диване, прислонившись спиной к стене и подтянув ноги.

Он прыгнул под одеяло и сразу ощутил ее тепло. Ему показалось, будто что-то шершавое коснулось его ноги.

— Что это? — Аня потянулась к Конструктору.

На секунду Аркаша почувствовал укол ревности. Потом все-таки протянул Конструктор девушке. Он ощущал исходящее от фигурки недовольство.

— Это... — Аркаша задумался, как бы лучше объяснить. Впрочем, у него не было желания что-то объяснять. — Не важно. Я делал такие штуки в детстве.

Аня повертела фигурку в руках.

Из-под стола кто-то принялся тихо напевать. Иногда звучание голоса напоминало музыкальный инструмент — но нельзя было понять, какой именно.

Аркаша вдруг понял, что отец все еще здесь — точнее, какие-то частицы, оставшаяся после его смерти энергия — и что ему одиноко, даже не смотря на компанию сына и того, который поет из-под стола. Потому что для того, который под столом, одиночество — дело привычное; он ведь одинок по определению. А вот Шелестову-старшему оно в тягость. При жизни он еще мог как-то с ним бороться. За дверью, за стеной, далекие и бесплотные, как тени, с ним все-таки были жена и сын. Хотел он этого или нет, знал он об этом или нет, но их голоса, долетая до него, продлевали ему жизнь, восстанавливая сожранные молью времени нервные клетки, заставляя еле

заметно, как вода в заросшей ряской реке, двигаться застоявшуюся кровь. А теперь он один. Застрял в каком-то неизвестном измерении.

— Смотри, — Аркаша осторожно взял Конструктор из Аниных рук.

Повертев в руках, нашел нужный угол. Если держать его в таком положении, он напоминал человеческую голову.

Указательным пальцем он начертил на «голове» сложный знак. Казалось, в тот момент кто-то управлял его рукой.

Потом отломил небольшую пластинку, поставил «голову» на стол и стал ждать.

Минут сорок (час? полтора часа?) они молча сидели рядом. Аркаша слушал пение и иногда чувствовал, как что-то касается его голых ног. Наконец обратился к девушке:

— Слушай, тебе домой не пора?

Просто надо было хоть что-то сказать.

Аня ничего не ответила. Она сидела и, казалось, тоже слушала пение.

Через час ему удалось одеть девушку и довести до лифта.

— Доберешься до дома — позвони, — стараясь изобразить в голосе заботу, сказал он вместо прощания.

Аня автоматически кивнула и зашла внутрь.

И вот он третий день названивает ей на домашний с одной целью — узнать, случилось ли с ней что-нибудь после фокуса. И если да — то что? Но в ответ каждый раз слышит одно и то же

— Ани нет дома.

28.

Слава богу — с ней все в порядке.

Увидев на пороге Любовь Игоревну, Оля облегченно вздыхает. Этот плотный, вытолкнутый из легких поток воздуха несется через разделяющее ее и учительницу пространство — так, что та ощущает его и на секунду замирает, изумленно глядя на девушку.

Но вскоре Оля понимает: с учительницей-то все в порядке, но где-то неподалеку, совсем рядом с ней что-то все-таки произошло. Оля чувствует это. Слабую пульсацию, которая исходит от учительницы. Словно на ее одежде, в волосах, в дыхании затаилось что-то постороннее. Злобное. И внутренний опыт подсказывает, что она с чем-то подобным уже сталкивалась — правда, очень давно.

Краски на старенькой кофте Любви Игоревны смешиваются, образуя новые оттенки. Фигуры накладываются одна на другую — и вот уже вместо цветов и птиц на Олю смотрит что-то аморфное, постоянно меняющее свои очертания. Когда Любовь Игоревна объяс-

няет Оле новую тему, та еле улавливает суть разговора. Не отрываясь, словно в трансе, она наблюдает, как неясные контуры переползают с локтей женщины на плечи, на лопатки, стекают подобно чернилам вдоль позвоночника, охватывают пояс.

«Почему она не чувствует этого? Почему не видит?»

Оля хочет поговорить с Любовью Игоревной. Расспросить о том, что произошло с ней или неподалеку от нее (может, в соседней комнате?).

Возможно, эта женщина — которую она до сих пор иногда называет про себя Королевой — сама ничего не знает. Но не оно, не это незнание останавливает Олю, а выражение лица. Выражение еще большей отрешенности, чем обычно. Словно к тому грузу, что висит на ней уже несколько лет, прибавилась новая тяжесть. Словно кто-то невидимый накинул ей на шею петлю и потихоньку стягивает.

Все, что может сделать Оля — это, проведив Любовь Игоревну, дожидаться когда она будет выходить из подъезда, и, подышав на стекло, обвести вокруг фигурки учительницы неровную, но, главное — замкнутую окружность.

Пусть все будет хорошо — шепчет она. И просит, непонятно кому обращаясь,

— Пожалуйста.

29.

Вернувшись от Аркаши, Аня тайком от родителей собрала самые необходимые вещи и отправилась к Нелли — подруге, которую знала еще со времен садика.

Увидев Аню, Нелли вначале испугалась: та, с которой Шелестов впервые познал, что такое плотская любовь, больше всего напоминала восковую копию самой себя. Бледно-розовые губы тонкой полоской разделяли лицо на две неравные части. Лицо, казалось, было не из кожи, а из белого мрамора — не лицо, а скорее маска из японского театра.

— Можно у тебя переночевать? — бесцветным, в тон лицу, голосом спросила Аня.

— Угу, — только и смогла выдавить Нелли.

Утром Аня покинула свое временное пристанище. Нелли была последней, кто видел Аню живой.

Через четыре дня труп Ани нашли в сточной канаве Тачкинской промзоны. Экспертиза показала, что ее несколько раз изнасиловали, а потом задушили брючным ремнем — который, кстати, лежал неподалеку от канавы.

Все это Аркаша узнал от ее родителей, когда пришел на похороны. Потом он стоял в стороне и долго смотрел на тело.

В голову лезла разная дрянь. Он представлял, как Аню насилюют, а потом душат. Как она хрипит, а ее лицо синеет. Как ее конечности сводит последней судорогой.

Родители не могли понять — с чего вдруг их дочь ушла из дома, не оставив даже записки. Но для Аркаши никакой тайны тут не было.

Конструктор просто загипнотизировал ее, и все. Внушил ей свою темную волю. Все время после того, как ушла из его квартиры, Аня находилась в трансе. И кто-то — какой-то извращенец — просто воспользовался этим.

Просто.

Просто.

Просто.

Все очень просто. Даже слишком.

Но сейчас его больше волнует другое: что произошло с матерью?

Она источает какое-то излучение, ауру — уж кто-кто, а он теперь стал специалистом в таких вещах и чует их за версту. Непонятно почему, но излучение раздражает его. И еще больше оно раздражает — просто бесит — Конструкторов, которые недавно переехали из зала в его комнату. А вместе с Конструкторами злитесь и обладатель бородатого лица. И отец — вернее, та толика энергии, что осталась от него — от происшедших с бывшей супругой перемен тоже не в восторге.

Аркаша чувствует, что все они - мать, Конструкторы, отец и бородатое лицо — как-то связаны между собой. Что они являются компонентами одной мозаики.

Что-то подсказывает ему — для того, чтобы сложить ее, он должен отправиться туда, где все началось.

На родину отца.

ЧАСТЬ IV

СВИНОЙ ОБРАГ

30.

Оле пять лет.

Они с мамой в магазине. Девочка, задержав дыхание, разглядывает стеллажи с однообразными тетрадками, дневниками и канцтоварами. Улучив момент, когда мама и продавец отворачиваются, она подходит к одной из полок и, насколько способные ее маленькие легкие, вдыхает запах бумаги и чернил.

Запах будоражит, рождая в воображении широкие коридоры, топот маленьких ножек и классную доску. О чем этот запах молчит — так это о злобном лице, которое посмотрит на нее, когда она, второклассница, решит показать подругам колесо.

Выйдя из магазина, держа за руку маму, Оля щурится на летнее солнце. Вокруг такая красота, что даже жара (которую девочка терпеть не может) не мешает наслаждаться окружающим миром, впитывать эту красоту всеми порами. Сладковатый и почему-то слегка пугающий запах нагретого асфальта, смешиваясь с запахом земли, проникает в капилляры, в генную структуру — и от этого хочется прыгать на месте, бегать вокруг мамы; хочется потоптать хрустящую, коротко стриженую травку на газоне, а потом забраться в заросли шиповника, аккуратно продираясь между колючих стволов и перешагивая оставленные кем-то какашки. Чтобы, очутившись в самом центре, почувствовать щемящее вселенское одиночество, от которого маленькое сердечко начинает учащенно биться - и кинуться обратно к маме...

В Олины мечты врывается еле слышный сквозь гомон летнего дня звук. Тихое поскуливание. Повертев головой, девочка видит черного щенка. Он лежит на самом краю тротуара. Рядом с мордочкой — лужица крови. Видно, как поднимаются и опускаются черные бока, как постукивает по асфальту маленький хвостик. Кажется, его хозяин сейчас вскочит и примется кружить вокруг прохожих, поливая их звонким тьявканьем.

Но этого не произойдет. Оля видит сгущающееся вокруг звереныша красное свечение. Чем насыщеннее оно становится, тем реже и слабее делаются повизгивания.

Оля останавливается возле умирающего щенка. Но в этот момент кто-то сильно дергает ее за руку. Мама.

Мама говорит:

— Пойдем. Не на что тут смотреть.

И девочка, повинуясь матери, плетется на остановку. Забираясь в пышущий жаром нагретого металла троллейбус, она кидает последний взгляд на щенка. С такого расстояния не понятно, жив еще он или нет.

В любом случае — она его не оставит.

Запрыгнув на раскаленное сиденье, Оля принимается рисовать на пыльном стекле. Кажется, что кто-то водит ее за руку.

У нее получается четвероногая фигурка. Если хорошенько взглядеться и приложить фантазию, можно распознать в фигурке щенка. Указательным пальцем Оля обводит вокруг него неровный овал.

Когда овал замыкается, девочка чувствует, как по телу пробегает слабый электрический разряд.

Троллейбус уносит ее прочь от остановки, от магазина, в котором пахнет школой, от щенка — но теперь она уверена, что с песиком все будет хорошо. И если кто-то спросил бы, откуда такая уверенность, она не смогла бы этого объяснить.

Оля сидит в кресле, сцепив пальцы рук. Верхняя часть туловища чуть наклонена вперед.

Она уже забыла об этом. Давным-давно. Столько всего произошло с тех пор. И вот теперь — получите-распишитесь.

Окно озаряется светом фар. Внизу машина делает разворот и уходит в лежащую за пределами двора темноту.

Ее как будто к чему-то готовят.

Оля сидит, уставившись в подоконник. Снизу и сверху, слева и справа — люди. Они готовят ужин, смотрят вечерние передачи, ссорятся, принимают душ, ложатся друг с другом в постель, занимаются уборкой, болеют. И даже не подозревают, что связаны между собой. А в центре всего этого она — чувствует исходящие отовсюду потоки энергии, физически ощущает, как они пересекаются и рождают что-то новое. Неизвестную разновидность частиц, пока еще не имеющих заряда. Будет он со знаком минус или плюс, способна решить только она.

Да, именно она может придать этим частицам силу и направление.

Где-то впереди, за заслоном из панельных многоэтажек, скрывается ядро, сплошь состоящее из непонятной темной субстанции. Из антиматерии.

А совсем рядом с ним находится Королева — та, кого ей предстоит спасти. Пока, правда, непонятно — от чего спасать. И как.

31.

Его первая самостоятельная поездка.

Стоя у красного «Икаруса», Аркаша докуривает пэллмеллину. Слышно, как покрывки проезжающего мимо автобуса шелестят по рыхлому мартовскому снегу. Диспетчер что-то говорит по громкой связи. Его голос, многократно отражаясь, уносится в расположенный неподалеку лес.

Всю дорогу до вокзала Аркаша чувствовал чей-то взгляд. Вот и сейчас за ним наблюдают. На этот раз из леса. Но Шелестов не оборачивается. Он и без того знает — если хорошенько приглядеться, среди деревьев можно увидеть стариковское лицо. Этот старик — или то, что очень похоже на старика — может свободно перемещаться в пространстве. А вот то, что осталось от его отца, приковано к дому. К комнате, в которой Шелестов-старший испустил дух.

Последние пассажиры торопливо забираются в автобус. Водитель в нетерпении жмет на гудок. Аркаша подхватывает свой рюкзачок и поднимается по ступенькам.

32.

Не исключено, что, оказавшись впервые в дороге — один, без матери — он проникся бы этим приключением, как проникались своим первым самостоятельным путешествием многие. Когда ощущаешь себя несущейся сквозь пространство песчинкой; когда впервые чувствуешь свое тотальное одиночество и одновременно — связь с целым миром, со Вселенной. Ощущаешь невидимые нити, тянущиеся от одного человека к другому и соединяющие их, хотя они этого или нет.

Но наш герой — совсем другой человек. Романтика путешествия чужда ему, опасности дальней дороги его не тревожат.

Кем он себя видит?

Объектом, передвигающимся от точки А к точке Б, где А — родные Тачки, а Б — Саратов, от которого рукой подать до Красных Песков.

Что движет им?

Желание, которое он не в силах побороть.

Безумная тяга оказаться там, где все началось.

Какое-то звериное чутье подсказывает ему, что именно в Красных Песках стартовала вся история. Только здесь он сможет понять, что такое Конструктор. И откуда взялись старческие лица, и

почему он, находясь в своей комнате, ощущает присутствие Шелестова-старшего.

Предвкушая и одновременно боясь тайн, которые вот-вот приоткроются перед ним, Аркаша смотрит на пролетающие за окном пейзажи. В них преобладают белый, серый и черный цвета.

Шелестов хмурится, силясь что-то вспомнить — и не проходит минуты, как вспоминает.

Именно в таких тонах была оформлена коробка с первым его конструктором (да-да, тогда он еще был «конструктором» с маленькой буквы). Лишь спустя годы он станет Конструктором. Убийцей и одновременно инструментом убийства.

Но если Конструктор — и убийца, и орудие, то кем же тогда является он?

Шелестов настолько ушел в себя, что не сразу реагирует на легкое постукивание по плечу. Когда он, наконец, поворачивает голову, то видит на соседнем сиденье мужчину лет сорока — сорока пяти, одетого в дутую зеленую куртку. Он улыбается Аркаше приветливой и одновременно грустной улыбкой.

— Здравствуйте, — говорит мужчина.

Аркаша не реагирует на приветствие. Тогда мужчина представляется:

— Андрей.

33.

Андрей оказался очень общительным. Настолько общительным, что своей непрерывной болтовней смог ненадолго вырвать Шелестова из тесных казематов его размышлений. Причем речь попутчика Аркашу, мягко говоря, удивила. Она была скорее литературной, чем речью обычного человека. Плюс к этому, на протяжении всей беседы Андрей практически не сводил с Аркаши взгляда своих бледно-голубых глаз. Словно хотел что-то объяснить своему юному спутнику, и никак не мог догадаться — понимает тот его или нет.

Впрочем, назвать все происходящее беседой можно было разве что с большой натяжкой. Говорил в основном Андрей. Шелестов большей частью молчал и периодически бросал взгляд за окно, где проплывал все тот же черно-серо-белый пейзаж, так характерный для конца марта.

О себе Аркашин попутчик поведал очень мало: родился в деревне Томино неподалеку от Оренбурга, в двадцать лет переехал в Тачки, где и провел практически всю жизнь. Сейчас едет в Саратов — на похороны младшей сестры.

— История моей сестрицы, возможно, покажется вам любопытной, — вкрадчиво произнес Андрей, после последнего слова как бы ставя многоточие.

Шелестов особой заинтересованности не проявил. Но и протестовать не стал. История — так история.

Андрей откашлялся, словно перед выступлением, и едва заметно преобразился. Взгляд его прицелился в лицо Шелестова — словно в этом лице, в вертикальной бороздке над губой, в едва заметной горбинке на носу, в глазах с вечно расширенными, как у наркомана, зрачками, было зашифровано некое послание, и он, Андрей, непременно должен был его прочесть.

— Сестрица моя, Аннушка, с рождения была девочкой тихой, характера покладистого. Никаких проказ и пакостей за ней не водилось, а уж как все живое любила — это и словами передать невозможно.

Помнится, как-то раз, по детству, гуляли мы с ней в лесу. Шли и разговаривали о чем-то. Я тогда заканчивал пятый класс и сильно увлекся историей древнего мира. Аннушка (она, стало быть, окончила первый) молча шагала рядом и слушала, как я рассказываю ей не то об Александре Македонском, не то о Тутанхамоне. Слушать она всегда умела.

Лицо Андрея вдруг посуровело, словно внутри у него сжалась невидимая пружина. Потом черты его вновь разгладились, и он, кашлянув, продолжил.

— Так вот. Увлечись рассказом, я, сам того не заметив, на ходу сорвал листок с березы. Потеребил в руках и так же машинально выбросил. Видели бы вы, мой друг, что тут произошло с Аннушкой! Лицо исказилось, словно от какой ужасной муки. Знали бы вы, как это было жутко лицезреть — такой шок, такая агония на детском личике. Я оторопел, а она кинулась на колени, каким-то чудом нашла в траве этот измятый листок. Смотрит на меня, по щекам текут слезы, и все повторяет: «Давай обратно приклеим, а? Давай приклеим!» И два дня после этого пролежала в постели с температурой. Мать, конечно, перепугалась, решила, что Аннушка простудилась. Меня бранить начала, но я-то знал, в чем дело.

Снова по лицу Андрея пробежала еле уловимая тень. И снова он, видимо, каким-то чрезвычайным усилием воли взял себя в руки.

«Сильный человек» — подметил Шелестов.

— Но это я вам рассказал для того лишь, чтобы вы поняли, какая она была впечатлительная, — и снова Аркашин попутчик принялся пристально выглядывать что-то в лице юноши. На секунду их взгляды пересеклись и Шелестов услышал слабое гудение в голове. Ему вдруг пришла в голову мысль о том, что Андрей скани-

рует его. Пытается пробить в нем брешь и забраться внутрь. Но гудение исчезло так же быстро, как и появилось.

— Замуж Аннушка вышла рано, как это у вас принято называть, по большой любви.

«У кого это — у вас?» — подумал Аркаша, но вслух не прооронил ни слова.

— Однако муж ее, Максим, такой настоящей девичьей любви определено не заслуживал. Человек он был вспыльчивый, часто и помногу пил, а как выпьет — тут не раз и до рукоприкладства дело доходило. Аннушка долгое время все его оскорбления и оплеухи сносила молча. Но однажды чаша терпения, как это у вас говорится, переполнилась.

Как уж он ее, такую спокойную и чуткую, из себя вывел — ума не приложу, но факт остается фактом: однажды после очередного мужниного «выступления» Аннушка выбежала во двор и в сердцах крикнула: «Да чтоб ты издох, выродок проклятый!» После чего, вдоволь проревевшись, пошла в гости к подруге. Власть нажаловавшись на свою тяжкую долю, сестренка вернулась домой. Максим лежал на крыльце с неестественно повернутой головой. Он, видимо, кинулся догонять жену, но, не сумев верно скоординировать движения, упал с крыльца и вывихнул шею.

После этого случая Аннушка сильно переменялась. Поначалу все, конечно, думали, что она так сильно переживает Максимову смерть. Но причина, как оказалось, заключалась не в этом. Будучи натурой крайне впечатлительной, сестрица внушила себе, что муж ее помер не от несчастного случая; что причиной его смерти послужила реплика, которую она бросила в гнев — и что, стало быть, она во всем виновата.

Стало Аннушке казаться, что у нее дурной глаз, что она может проклясть, притянуть откуда-то извне темную энергию и направить ее на любого человека. И с тех самых пор каждый раз, когда поблизости кто-то умирал, она решала, что это произошло из-за проклятия, которым неведомо кто и непонятно зачем наградил ее, и которое она, сама того не желая, способна навлечь на окружающих.

Полгода назад от рака скончалась лучшая подруга Аннушки. Сестрица, конечно, решила, что дело тут опять в ее дурном глазе, проклятии или уж не знаю в чем еще. Промучилась несколько месяцев, и в одно прекрасное, точнее сказать, ужасное утро ушла на речку. А через четыре дня рядом с деревенькой, что расположена ниже по течению, всплыло ее тело.

Вновь Шелестов почувствовал гудение в голове, на этот раз громче, настойчивее. Андрей принялся буравить его взглядом, да так

пристально, что Аркаше захотелось спрятаться, убежать от этих глаз. Он сильно-сильно зажмурился...

А когда открыл глаза, никакого Андрея рядом не было. На месте странного попутчика дремал незнакомый старичок.

34.

Вскоре после окончания беседы (которая, как решил Аркаша, случилась во сне) автобус достиг финальной точки маршрута — Саратова. Здесь он провел около полутора часов, дожидаясь автобуса, на котором ему предстояло добраться до Красных Песков.

Вместо обещанного «Икаруса» взгляду Аркаши предстал обшарпанный белый «ПАЗик». Не успев забраться внутрь, молодой человек внутренне содрогнулся, предвкушая бензиновые пары, которыми, он был уверен, заполнен салон. Так и оказалось.

Весь двухчасовой путь до Красных Песков Аркаша проспал. Правда, на сей раз никаких странных снов он не видел. Проснувшись, почувствовал себя на удивление свежим и отдохнувшим, словно и не было этих изнурительных часов в пути.

Выбираясь из «ПАЗика», Шелестов уже приготовился впитывать атмосферу отцовской родины, профильтровывать местный воздух — он всегда делал так, оказавшись в незнакомой обстановке (что, правда, происходило нечасто). Но шестое чувство подсказало — что-то здесь не так.

Место, где он оказался, никак не могло быть конечным пунктом его поездки.

Объяснение нашлось очень быстро. Вылезший из кабины водитель заглянул в салон и сиплым голосом гаркнул на дремавшую старушку, которая даже во сне продолжала сжимать мертвой хваткой два баула, набитые склянками непонятого назначения:

— Мать, подъем! Дубки!

Бабулька, подскочив, вышмыгнула из автобуса, чуть не сбив Шелестова с ног. Последний кашлянул и обратился к шефу:

— Простите, а до Красных Песков мы, что, не едем?

— До Красных Песков ходят пешком, — еще раз рявкнул водитель. Потом, видимо, решив, что сказанного недостаточно, махнул рукой куда-то вперед. Туда, видимо, должен был ехать автобус, если бы не остановился посреди поселка с милым русскому сердцу названием Дубки.

Шелестов вначале было растерялся — что делать дальше? Он посреди незнакомого поселка, не знает куда идти, да и вообще с трудом представляет, что он здесь делает. Но, поразмыслив, решил

двигаться по центральной улице и дорогой порасспросить местных жителей — уж они-то наверняка объяснят, как попасть в Красные Пески. И тут свершилось невероятное.

Чем дальше Шелестов удалялся от автобуса, тем увереннее становился его шаг. Внутри словно заработал незримый радар — и Аркаша доверился ему. Вскоре он почувствовал себя маленькой, но очень важной деталькой гигантского Конструктора, которая вот-вот, уже совсем скоро, займет свое место в общей схеме — и тогда все станет простым и понятным.

Но если он деталь — то кто тогда движет им? Чья рука подняла его, беспомощного, в воздух и теперь примеривается, намереваясь с еле слышным щелчком вставить в нужный паз?

Словно выходящий на финишную прямую марафонец, Аркадий, сын Сергея Шелестова, с раскрасневшимся лицом, с заливающим глаза потом, вкладывает все силы в последний рывок. Почти срываясь на бег, с стиснутыми зубами и вздувшимися жилами, он покидает пределы поселка и, проваливаясь в весеннюю грязь, не слыша, как хрустит под ним тонкая корка льда, движется дальше — туда, где за чернеющим у горизонта холмом его ждут, манят, верят в него таинственные Красные Пески.

35.

Вот он — заветный поворот. Шелестов вступает в село. Он не столько видит, сколько чувствует Красные Пески, ощущает, как они, словно пески зыбучие, смыкаются вокруг него; как он вязнет в них, проваливаясь все глубже и глубже.

Деталь заняла свое место в Конструкторе.

Тусклое солнышко, отражаясь в окнах избы, бьет Аркаше в глаза. Подняв взгляд, он видит проплывающую мимо тень. Вначале бесформенная, она постепенно приобретает очертания — и вот уже Шелестов видит спутулившегося мужика. Мужик кивает Шелестову, словно старому знакомому. Шелестова это почему-то не удивляет. У него такое ощущение, словно он где-то уже видел это бородастое лицо. Фуфайка спереди у мужичка выпирает, словно под ней прячется женская грудь, причем внушительных размеров.

Аркаша с любопытством смотрит по сторонам. Смотреть, правда, особенно не на что. Кругом — стандартная серость русского села, помноженная на убожество и весеннюю хлябь. Здание с выцветшей вывеской «Сельмаг», от которой отвалились две буквы — и теперь она читается как «Селма». Одинаковые избы с почти обязательными палисадниками. Кое-где видны двухэтажные здания из белого

кирпича. Построенные в незапамятные времена, они являют собой весьма жалкое зрелище: кирпич отваливается от углов крупными кусками, а с торцов красуются выведенные углем и краской неприличные надписи.

По словам Любви Игоревны, которую Аркаша тщательно расспросил перед отъездом, раньше в Красных Песках находился колхоз, занимавший первое место в области по уровню удоев. В селе работал клуб, собиравший по выходным молодежь со всей округи. В одном здании с клубом находилась библиотека. Собственно, это практически все, что Шелестову удалось узнать от матери, бывавшей в деревне всего пару раз.

Но какими бы не были Красные пески в былые времена, теперь они являют собой классическую картину безнадежно вырождающегося захолустья. Колхоз развалился. Вся молодежь либо спилась, либо уехала в город. Село теперь — царство стариков, потихоньку-помаленьку дожевывающих свои жизни у чадящих горьким дымом печек. Шелестов закрывает глаза и видит их — забившихся в свои углы, дрожащими руками насыпающих курам зерно, срывающимися голосами зовущих своих буренок — каких-нибудь Ночек или Дочек; набирающих скрюченными ревматизмом конечностями дрова из полениц.

Занятый такого рода мыслями, Аркаша едва не наступает в огромную лужу. Она имеет форму почти идеального круга, в центре которого возвышается огороженный невысоким заборчиком памятник Ленину.

Что-то подсказывает Шелестову, что он, сам того не заметив, добрался до середины села. Стало быть, лужа находится на месте центральной площади — если такое определение, как «площадь», здесь вообще уместно.

И снова им овладевает растерянность — прямо как до этого. В Дубках.

Что делать теперь?

Куда идти?

К кому обратиться?

Словно в ответ на его неозвученные вопросы, из-за спины доносится голос — настолько тихий, что, прозвучи он чуть слабее — и Шелестов принял бы его за посвист ветра.

— Ну здравствуй, Аркаша. Никак, с папиными друзьями пришел повидаться?

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, Шелестов видит старушонку в серой шубке, со странно вытянутым лицом. Скорее даже не лицом — мордочкой. Аркаша сходу про себя дает старухе прозвище — Мышь...

...и попадает в точку, потому что перед ним — та самая Мышь, что более двадцати лет назад до полусмерти перепугала его бабушку. Удивительно, но за прошедшие десятилетия внешне она почти не изменилась — разве что чуть прибавилось в волосах седины.

Мышь берет Шелестова за руку, и тот беспрекословно подчиняется ее воле. Юношу вновь захлестывает ощущение единства с чем-то гораздо большим, чем он сам, но на сей раз к этому примешивается непонятная эйфория и одновременно — тупой, необъяснимый страх.

Вместе они идут на дальний конец села, в тесную избенку. Поднимаясь по полуразвалившемуся крыльцу, он видит в одной из щелей внизу лицо Сергея Сергеевича.

Отец прямо, не отрываясь, смотрит на Аркашу. Глаза подернуты мутной пленкой. Губы залеплены похожей на гной слизью. Шелестов останавливается, но стоящая сзади Мышь толкает его в спину.

Внутри все выглядит так же убого, как и снаружи. В единственной комнате — старая кровать, стол с горой невымытой посуды, несколько пар сношенной обуви в углу.

Но главное — запах. Запах гнили, смешанный с чем-то сладким.

Заведя Шелестова в центр комнаты, Мышь снова берет его за руку и смотрит то ему в лицо, то куда-то в угол. Приглядевшись, Аркаша различает там высокую темную фигуру. Фигура молча протягивает Мыши прямоугольный предмет. Старуха кладет его под ноги Аркаше, разворачивается к двери и пищит:

— Ну заходи уж. Заждался, поди.

Дверь со скрипом открывается. Шелестов чувствует дыхание на шее.

Мышь нагибается, берет прямоугольный предмет и протягивает Аркаше.

Теперь видно, что это большая коробка из-под конструктора.

Высокая фигура шагает из угла. Почему-то Шелестов не удивляется, когда видит лицо старика и красивую женскую грудь.

Мышь поворачивает Аркашу лицом к двери — и к тому, второму, гостю.

Отец смотрит на него спокойно, но во взгляде чувствуется скрытая тревога. Потом подходит и берет за правый локоть. На левом смыкаются пальцы грудастого старика.

Как только старик и отец занимают места по обе руки от Шелестова, Мышь на удивление сильным, раскатистым голосом кричит:

— А ну пошли, отколь явились!

Не дожидаясь окончания фразы, Шелестов-старший и старик выталкивают Аркашу из избы.

Спустя некоторое время парень понимает, что вовсю несется тесными переулками. Справа и слева мелькают заборы и низкие домики. Иногда в окнах видны перепуганные лица. Но Шелестов отмечает все это как бы вскользь, между делом. Он всецело поглощен бегом. Он слышит сбивчивое дыхание со стороны отца. Оттуда, где бежит женогрудый старик, не доносится ни звука.

Заборы и дома остаются позади. Шелестова со всех сторон окружают деревья. По щиколотку утопая в жирном черноземе, он сворачивает с тропинки и углубляется в рощу. Отец обгоняет его и исчезает в переплетении стволов и ветвей. Через минуту к нему присоединяется старик. Аркаша остается один в быстро сгущающихся сумерках.

Приглядевшись, он замечает под ногами что-то, похожее не то на кабель, не то на шланг темно-красного цвета.

Нагнувшись, Шелестов берет кабель-шланг в руки. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что это — нечто органическое. Очень похоже на пуповину. Изгибаясь между стволами, провисая на ветках, тянется вглубь рощи.

Его ботинки забиты снегом, джинсы перепачканы. Ветви хлещут по лицу, оставляя кровотокащие царапины.

Перебирая пуповину в руках, он углубляется в лес.

Спустя полчаса, обессилевший, Шелестов выходит к краю оврага, который местные жители прозвали Свиным — того самого, где давным-давно нашли голову его деда.

37.

Свиной овраг представляет собой продолговатое углубление, похожее на уродливую рану. Словно кто-то взмахом гигантского ножа рассек поверхность земли. Глубина оврага колеблется и в разных местах составляет от двух до пяти метров. Длина, видимо, приличная — по крайней мере, если посмотреть влево и вправо. Краев не видно. По дну бежит узкий ручеек, оглашающий окрестности на удивление громким журчанием. Почти рокотом.

Поскальзываясь, опираясь ладонью о холодную сырую поверхность, Шелестов спускается к ручейку. По ту сторону потока стоит дерево — кажется, ясьень.

Аркаша садится на корточки и заглядывает в ручей. В свете зарождающейся луны видит свое отражение, а рядом с ним — бородатое лицо.

Из-за ствола доносится мелодия. Вначале еле слышная, она набирает силу и темп, а журчание воды звучит аккомпанементом. Та самая мелодия, которую Аркаша неоднократно слышал, засыпая в комнате отца. Звуки становятся чем-то почти вещественным, Шелестов ощущает их кожей, чувствует, как они отталкиваются от деревьев, пронесаются в морозном воздухе, оседают в сырую почву.

Рука ложится ему на плечо — и это прикосновение рождает целую вереницу образов. Шелестов становится очевидцем событий сорокалетней давности.

Он видит своего деда — здорового мужика, несущегося в моторке по темной водной глади. Но видит не своими глазами, а глазами кого-то другого — того, кто гораздо старше его, и отца, и деда, и всех их вместе взятых.

Того, кто стоит сейчас у него за спиной.

Вот мужик глушит мотор и замирает, прислушиваясь. На лице появляется выражение, которое так хорошо знакомо Аркаше: страх, смешанный с восторгом.

И снова мелодия. Она льется над безмолвной гладью реки, заворачивая, унося куда-то далеко — настолько далеко, что и подумать страшно. Разделенные километрами и десятками лет, дед и внук внимают ей. Несмотря на разницу в возрасте, их лица похожи.

Картинка меняется. Снова Шелестов чужими глазами видит деда.

Он лежит под стеганым одеялом, повернувшись лицом к стене.

Он бредит. А из темного угла за ним наблюдает то самое существо, чья рука сейчас лежит на плече у Аркаши. Которое показывается только тому, кто, как его дед, поддался зову чарующей нездешней мелодии. Поддался — и тем самым навлек на себя страшное проклятие. Проклятие пустоты и отсутствия жизни. Тому, кто обрек себя существовать, видя и чувствуя то, чего не видят и не чувствуют другие. И поэтому они — другие — счастливы. Потому что могут полноценно прожить каждую секунду, впитывать ее соки и делиться ими с окружающими, разбрызгивая их вокруг и получая взамен то, что копят и отдают другие. И этот обмен, по сути, является фундаментом, основой всего.

Теперь Шелестов понимает, что его дед, купившись на чьи-то уговоры, поддавшись какому-то неясному искушению, обрек своего сына — и внука, и дальнейших потомков, если таковые будут — на жалкое существование.

На жизнь оболочек, внутри которых прячется сверхчувствительная душа. И душа эта просыпается лишь тогда, когда слышит далекое заворачивающее пение.

Аркаша видит вереницу Шелестовых — тех, что последуют за ним. С мутными глазами и шевелящимися губами, переставляя негнущиеся ноги, они нестройной колонной тянутся сквозь бесконечные, бесцветные годы.

Рядом с ними идут друзья.

Любимые.

Жены.

Дети.

Но Шелестовы не видят их. Шелестовы спят на ходу. И в конце этой вереницы лиц стоит тот, из чьих растрескавшихся старческих губ несется обманчиво-сладкая мелодия. Тот, кого они принимают за Бога. Благодаря непоправимой ошибке деда, поплатившегося за свою жизнь головой.

Видение исчезает так же быстро, как появилось.

Аркаша в полном одиночестве стоит у ручья. И только сейчас понимает до безобразия простую вещь.

Конструктор и заключенная в нем мистическая сила — всего лишь результат проклятия, которое когда-то навлек на себя дед. Которое он, Аркадий, передаст сыну или дочери. Не важно, какого пола будет ребенок. Его проклятие окажется еще сильнее, еще могущественнее.

Проклятый, он сам получит способность проклинать. Лишенный жизни — как и его отец, стоящий сейчас посреди оврага — он сможет отнимать жизнь у других.

Каким темным даром будет обладать молодой Шелестов?

Окажутся в его власти судьбы отдельно взятых людей или целых народов?

Будет он, подобно отцу, собирать замысловатые фигурки, а потом ломать их — или в его руках окажется другой инструмент, с виду простой и вполне безобидный?

Калькулятор.

Игрушечная машинка.

Резиновый мячик.

Ракетка для бадминтона.

Да какая разница! Все это — просто форма. Оболочка, призванная скрыть неприятную и неприглядную суть. Спрятать то, что таится за ней.

Что он, Шелестов, сам — всего лишь инструмент.

КОРОЛЕВА В ОПАСНОСТИ

38.

Кружочки.

Крестики.

Овалы.

Квадраты.

Прямоугольники.

Трапеции.

Параллелограммы.

Они появляются и исчезают. На окне. В комнате у Оли. Они похожи на иероглифы.

Они появляются и исчезают в произвольном порядке, и невозможно увидеть здесь хоть какую-то логику.

Внизу, в серо-черно-белом месиве весеннего дня, творятся чудеса. Никому не заметные, они происходят в соответствии с той же непонятной закономерностью, с какой возникают и исчезают фигурки.

Схватившаяся было за сердце старушонка опускает руку и удивленно смотрит по сторонам: влево, вправо — куда угодно, только не вверх, хотя ее спасительница находится именно там.

Подвыпивший мужичок, повинувшись чьему-то неслышному приказу, уходит с дороги на тротуар — ровно за секунду до того, как из арки появляется черная «десятка», несущаяся явно не с той скоростью, с какой разрешено передвигаться внутри квартала.

Мчащегося с железной горки малыша прямо перед тем, как он ударяется головой об торчащий из земли край бетонной плиты, подхватывает невидимая рука.

Гоняющие по двору хромую собаку мальчишки вдруг чувствуют сильные уколы по всему телу и в ужасе разбегаются по домам.

Все эти события иначе как волшебством и мистикой не назовешь, но нет никого, кто обратил бы на них внимание, связал бы воедино и увидел, что — а, точнее, кто — является их первопричиной.

Мир внизу похож на шахматную доску. Если попробовать провести аналогию, то Оля — гроссмейстер. Только в отличие от бывшего шахматиста, она не уничтожает фигуры соперника, а, наоборот, воскрешает, помогает обрести новые силы. Да и никакого соперника у нее, в общем-то, нет. Разве что боль и смерть. Сливаясь, они образуют темно-матовую субстанцию, которую Оля видит.

От красной ауры, что окружает людей, начинают слезиться глаза. Словно брызнули из перцового баллончика.

С каждым днем — чуть ли не с каждым часом — Оля видит все больше и больше этой субстанции вокруг. Словно способности, пару раз проявившиеся в детстве и потом, казалось, исчезнувшие, начинают напоминать о себе.

Будто кто-то хочет, чтобы они проснулись.

Звонок в дверь — и снова Оля, как в детстве, катится через коридор, мимо выцветших обоев, едва не сбив телефон с тумбочки.

Сегодня Ее день. Оля отпирает дверь.

А Наталья Михайловна из кухни видит все то же радостно-лихорадочное выражение на лице дочери. Словно со школьных времен ничего не изменилось.

Но то, что происходит дальше, настораживает мать.

Лицо дочери бледнеет. Фраза «Добрый вечер, Любовь Иг...» застревает в горле девушки, как цыплячья кость.

Своим новым зрением Оля видит темно-красную ауру. Плотно, как комбинезон или саванн, она обволакивает ее Королеву.

39.

После Аркашиного возвращения мать не сразу заметила произошедшие в нем перемены.

Первое время все было так же, как и прежде.

До тех пор, пока Любовь Игоревна не обратила внимание на то, что сын слишком часто закрывается у себя в комнате и часами не выходит из нее.

Она идет вслед за Олей.

Сколько раз она бывала в этой квартире?

Десятки, сотни раз.

Казалось бы, за это время можно было изучить каждую мелочь. Однако сейчас она подмечает новые детали.

Керамического слоника на тумбочке у телефона.

Рисунок на обоях. Огромный солнцеподобный круг. По цветовой гамме почти не отличающийся от самих обоев — видимо, поэтому она и не обращала на него внимания).

Ярко-красные плитуса.

Но самое главное — взгляд. Никогда за все эти годы Оля так на нее не смотрела.

Так... испуганно.

Однажды Любовь Игоревна не выдержала и заглянула в комнату к сыну.

Аркаша сидел на полу, как когда-то в детстве. Перед ним на ковре были расставлены поделки из старого конструктора.

Господи, неужели они до сих пор целы?

Получается, все эти годы он хранил их.

Берег.

Вытирал с них пыль.

Сидя спиной к двери, ее сын отламывал от конструкторов отдельные детали. Судя по движениям, он собирал из них что-то новое. Но это что-то находилось прямо перед ним, загораживая обзор от Любви Игоревны. Слышно было лишь, как в полной тишине стучали друг о друга, пластмассовые треугольнички; как со щелчками входили в маленькие пазы полукруглые выпуклости.

Фигура сына была настолько неподвижна, если не считать механически движущихся рук, что матери на секунду показалось, будто перед ней и не Аркаша вовсе, а какой-то хитроумный робот, копия юноши.

Понаблюдав за ним минут пятнадцать (в течение которых он ни разу не оторвался от своего занятия), Любовь Игоревна закрыла дверь.

Объясняя Оле решение очередной задачи, мать Аркаши Шелестова вдруг чувствует сильный укол где-то внутри головы. Словно в самой сердцевине мозга вдруг появился маленький кусочек колючей проволоки. Появился и тут же исчез.

Такие приступы боли начались пару недель назад — то есть практически сразу после приезда сына — но Любовь Игоревна не придала этому факту никакого внимания.

Уходя от Оли, она погружается в свои мысли. И, разумеется, не видит, как девочка долго наблюдает за ней из окна, а потом принимается выводить пальцем на стекле странные узоры.

40.

По-крабьи перебирая руками, Аркаша ползает по коврику.

Как в детстве, он похож на алхимика. Только теперь алхимик подросток. Если вытянуться во весь рост, пространство между диваном и шкафом делается тесным.

За свою недолгую жизнь Аркаше не раз случалось чувствовать себя одиноким. Можно сказать, что одиночество проникло в его кле-

точную структуру, въелось в костный мозг. Но никогда еще он не ощущал такой оторванности от всего остального мира, как сейчас.

Перед ним полукругом разложены фотографии. Черно-белые, с которых он, совсем еще младенец, непонимающим взглядом смотрит в объектив. Цветные, позволяющие проследить весь путь взросления Шелестова.

Вот он в школьной форме — стоит, похожий на оловянного солдатика, а отец поддерживает его за плечи — словно стоит ему только убрать руки, и мальчик, не меняя позы, непременно упадет.

Вот он в окружении двух мальчишек — редкое фото, на котором он запечатлен не один. Это снимок с дня рождения. Аркаша тогда был в третьем классе. Белый в красную горошину колпак да нелепый сине-зеленый костюм.

Цветные распечатки с принтера отображают новейший этап в жизни Аркадия Шелестова. С них на фотографа взирает серьезный юноша.

Юноше всегда казалось, что на фотографиях он выглядит плохо. Видимо, из-за этого он действительно вышел плохо в большинстве случаев. То не к месту улыбнется неестественной, натянутой улыбкой. То, наоборот, сделает холодное, как у восковой фигуры, лицо.

Что он собирается сделать со снимками?

Как и прежде, в детстве, он не может ответить на этот вопрос.

Как и за много лет до этого, им руководит лишь чутье. Впрочем, разве ощущает что-нибудь карандаш, направляемый рукой того, кто делает набросок? Разве воспринимает себя как самостоятельную единицу клавиатура под пальцами того, кто набирает текст?

Как всегда, Шелестов догадывается, что он — просто игрушка, инструмент в чужих руках.

В чьих?

Генерируемая им энергия, подобно смертоносной радиации, просачивается сквозь стену, которая отделяет его комнату от комнаты матери — и та тревожно вздыхает во сне. Порой она принимается тихонечко постанывать от боли. Разумеется, Шелестов не знает, не подозревает об этом. Но даже если бы и знал, даже если был бы уверен, что распространяет вокруг себя темную, нездоровую энергию — разве прекратил бы он свое занятие?

Мы, отследившие всю историю его жизни с пеленок, бывшие свидетелями переломных моментов в его судьбе, с уверенностью можем сказать — нет.

Даже если и был бы у него когда-нибудь шанс остановиться, передумать, спастись самому и спасти близких — он этим шансом никогда бы не воспользовался. А теперь возможность все исправить окончательно и бесповоротно утрачена.

Уставший, с осунувшимся после нескольких бессонных ночей лицом, Шелестов выходит из подъезда. У него в руках большой черный сверток. Из-за угла налетает порыв ветра. Слышно, как шуршит целлофан.

Весенняя распутица поглумилась над обликом города.

От черно-белых стен отскакивает гул далеких троллейбусов. Аркаша вспоминает фильм «Таинственный лес». В фильме жители расположенного в глухой чаще поселка регулярно слышали доносящееся издали не то завывание, не то гудение. Очень похоже.

Под ботинками хлюпает холодная вода. Бредя по щиколотки в луже, Шелестов идет через двор, через арку — туда, где за покрытым желтой травой пустырем расположилась небольшая рощица.

Он пересекает середину поля. На секунду замирает, словно к чему-то прислушиваясь.

Впереди, за деревьями, мелькает заросшее бородой лицо, и Аркаша понимает: он не ошибся. Ему сюда.

Когда он приближается к другой половине поля, на ходу разворачивая черный пакет, справа раздается возглас:

— А ну-ка подожди!

Аркаша поворачивается.

Перед ним человек в ярко-зеленой куртке.

Некоторое время Шелестов стоит в нерешительности, но потом все-таки идет по направлению к человеку. Тот стоит, прислонившись к вертикально торчащей из земли металлической трубе. Правда, подойдя ближе, Шелестов щурится и видит, что это не труба. Когда-то здесь были футбольные ворота, а пустырь представлял собой футбольное поле.

«Забавно, — мелькает мысль. — Сколько лет здесь живу, а эти ворота вижу впервые».

Ей в ответ появляется другая. Голос внутри нашептывает: «Да ты, дружок, и поле-то видишь впервые».

Он отмахивается от них, от мыслей.

Да, он большую часть жизни провел в затворничестве. Но разве в том его вина?

Разве он виноват в том, что его перевели в школу за четыре квартала?

Разве его вина, что семья переехала в другой район? В том, что он не смог завести друзей на новом месте.

И голос шепчет: «А почему бы и не твоя?»

Голос шепчет: «Думаешь, у тебя одного был отец-алкоголик? Думаешь, у других не было душевных травм?»

Думаешь, другие дети в раннем возрасте не переживали переезд на новое место?

Но другие справились с этим. Приспособились к новым условиям. А ты всегда больше интересовался собой, чем внешним миром».

Аркаша отмахивается от голоса. Ведь в любом случае он получил взамен общения нечто большее.

Разве не так?

Не дойдя до ворот несколько метров, Аркаша останавливается.

— Привет, — голос звучит мягко и почему-то кажется знакомым.

Фигура не движется с места. Ветер шевелит капюшон на куртке, и он шуршит в такт с пакетом.

Шелестов снова щурится — и теперь узнает человека.

Это его давешний попутчик.

Андрей, кажется.

Тот самый, который, как думал Аркаша, приснился ему по дороге в Красные Пески.

42.

Сверху начинает лить, как из ведра. Ледяная вода стекает за воротник, забирается под рубашку, тонкими струйками добирается до подмышек. Шелестов поеживается.

Андрей сочувствующе улыбается, словно понимает, каково сейчас Аркаше. Но сам почему-то остается сухим (или это кажется Шелестову?).

Не переставая улыбаться, Андрей сходу, без предисловий, спрашивает:

— Помирать собрался, а? И с собой десяток-другой людей решил прихватить? А ты их спрашивал, засранец? Хотят они или нет?

Эти слова сильно контрастируют с выражением лица. Доброе такое лицо. Только глаза, как и тогда, в автобусе, пристально вглядываются в собеседника. Словно ищут понимания.

А скорее даже, не понимания. Скорее, этот взгляд напоминает взгляд врача, который выискивает у пациента внешние признаки болезни с каким-нибудь мудреным названием. Смотрит на цвет лица, на оттенок глаз, на состояние кожи.

Смотрит — и произносит:

— Чего молчишь?

Аркаша не отвечает. Да и что тут отвечать?

Он вообще не совсем понимает, зачем остановился. Так — любопытно стало: откуда посреди футбольного поля вдруг взялся мужик, приснившийся тебе несколько недель назад.

— А сейчас, по-твоему, я опять тебе снюсь?

Аркаша замирает. Вопрос застиг его врасплох. Дождевые капли добираются до пупка.

Андрей кричит:

— Йиииихххх!

И, оторвав ноги от земли, крутится вокруг трубы. Как стриптизер. Только, в отличие от стриптизера, получается у него не грациозно и эротично, а смешно — как у перепившего клиента стрип-бара, решившего станцевать вокруг шеста на потеху товарищам.

Аркаша понимает, что перед ним — сумасшедший.

Не говоря ни слова, он разворачивается и шагает через поле, на ходу пряча пакет под одежду.

— Не убивал ты никого, — спокойный, серьезный голос из-за спины.

По инерции Шелестов делает еще несколько шагов в направлении к краю поля.

Останавливается, чувствуя, как ноги становятся ватными. Медленно поворачивается к сумасшедшему. Тот, не торопясь, достает из внутреннего кармана куртки мятую пачку. Вынимает сигарету. Прикуривает.

Сделав глубокий вдох, Аркаша выталкивает:

— Что. Ты. Сказал.

Андрей делает длинную затяжку. Пару секунд подержав дым в легких, выпускает. Потом заходится в приступе кашля. Аркаша видит капельки крови на нижней губе и подбородке.

Андрей сплевывает красную слюну. Кривится — не то от боли, не то от отвращения. Снова затягивается. Потом опять сплевывает. На этот раз слюна оранжевого цвета.

— Я говорю, — Андрей глубоко вдыхает и стискивает зубы, словно пытается побороть тошноту — что ты никого не убивал. По крайней мере, вначале.

Немного придя в себя, Аркаша пытается сделать непонимающее выражение лица:

— Ты о чем вообще?

Андрей цедит сквозь зубы:

— Перестань дурачку валять...

За свои двадцать пять лет Шелестов лишь несколько раз переживал прилив сильных эмоций.

Как правило, после таких всплесков он брал в руки один из Конструкторов и отнимал чью-то жизнь (правда, этот вот длинный утверждает, что никого он не убивал). Но сейчас на него накатывает волна агрессии, которую нужно, просто необходимо на кого-то направить.

Всегда уравновешенный (некоторые даже считали его заторможенным), Аркадий Шелестов истерически кричит на человека в куртке с капюшоном:

— Ты о чем, ..., говоришь вообще, а? Самый умный, да? Я ты знать не знаю! Умник нашелся...

Его голос срывается на фальцет, и, дойдя до самой высокой ноты, затихает.

Со слезами на глазах Шелестов снова разворачивается. Бегом бросается к краю поля. Уж теперь-то он точно не вернется. Ни за какие коврижки.

Какая-то сила сбивает его с ног. Он ударяется лицом об землю. Слезы смешиваются с грязью и дождевой водой.

Ничего. Сейчас он поднимется и рывком покроет расстояние до кустов, которые отделяют пустырь от остального мира. Но все та же сила — непреодолимая и, похоже, сверхъестественная — держит его у земли.

И Шелестов понимает, что у него есть только один путь.

Назад. К высокому сутулому человеку. Грязный, промокший он возвращается.

— Первое верное решение, которое ты принял за сегодняшний день, — улыбается окровавленным ртом Андрей. — А может, и вообще — за всю жизнь.

Шелестов достает из-под свитера черный пакет и вытягивает его перед собой, словно пытается отгородиться от Андрея. Или от того, что он скажет.

Пакет вылетает из рук.

— А теперь слушай, — хрипло произносит Андрей. — Слушай и не перебивай, потому что повторять я не буду.

43.

— Помнишь ту историю. Про младшую сестренку. Которую я тебе рассказал в автобусе?

Аркаша кивает.

После встречи в автобусе память забрала его с Андреем разговор как сон. Но все подробности рассказа моментально всплыли в сознании Шелестова. Он настолько ясно вспомнил всю историю,

что даже удивился этому. Удивился — и немного испугался — уж не замешан ли в этом его собеседник. В том, что Андрей обладает сверхъестественными способностями, Аркаша уже не сомневается.

И тут догадка осеняет нашего героя.

«А что, если он — того же роду-племени, что и я? Сенсор. Проводник. Колдун. И под курткой у него — поделка из Конструктора. Или что-нибудь другое. Глиняная безделушка. Кусочек пластика. Кукла Вуду. Свечной огарок...»

Если исходить из таких предпосылок, то человек напротив — куда более сильный чародей, нежели он, Аркадий Шелестов. Вон с какой легкостью шмякнул его оземь. Как щенка или котенка.

Значит, надо быть осторожным. Очень осторожным.

Надо выжидать.

Андрей ухмыляется.

«Мысли читает, мразь».

Шелестов понимает, что за короткий промежуток времени успел возненавидеть Андрея. Правда, склонный к рефлексии, он вскользь подмечает, что ненависть эта — весьма интересного свойства. Так он раньше злился на своего отца — давным-давно, когда тот еще являлся хоть каким-то авторитетом для мальчика.

Ненависть, смешанная с тайным признанием правоты соперника.

Издаലെка, из-за города, доносится раскат грома.

Гром — в середине весны.

— Так вот, — продолжает Андрей. — Я эту историю специально тебе рассказал. Хотел, чтобы ты сам все понял. Или хотя бы начал догадываться. Но ты был настолько погружен в себя, в свои страдания, в свое, как ты это называешь, проклятие, что ничего не осознал. Ни-че-го-шень-ки.

Андрей говорит:

— Эгоист чертов.

И заходится в очередном приступе кашля. Откашлявшись, подносит тыльную сторону ладони к губам. Кривится — не то от боли, не то от отвращения. Закрывает глаза.

— Вы творите свою жизнь своими желаниями. Вокруг вас существует ментальная атмосфера, которая притягивает все, но притягивает не все в равной степени. Эта ментальная атмосфера соткана из наших желаний. А также из страхов, отрицательной стороны наших желаний. Это две стороны одной медали. Кроме сознательных желаний, есть и подсознательные желания и страхи. Так, вы притягиваете к себе людей и события, которые создают основу вашей жизни. Действие есть обретшее форму желание. Мы можем освободиться, только развязав эмоциональные узлы прошлых и настоящих ситуаций.

Аркаша понимает, что Андрей кого-то процитировал.

Тот согласно кивает.

— Это из философии розенкрейцеров.

Снова вдалеке грохочет гром.

— Кстати, кое-какими способностями я действительно обладаю.

Но насчет колдовства ты... это... переборщил.

Андрей ухмыляется:

— Свечной огарок! Хм... недурно.

Его окровавленные губы кривятся в ухмылке, которая больше напоминает оскал.

— Объясняйся подходчивее. У меня времени нет, — Аркаша выталкивает из себя слова. Но прекрасно понимает, что будет стоять здесь до тех пор, пока это не надоест его собеседнику. Пока Андрей не отпустит его. Пока он не скажет то, что хотел сказать.

Тем временем Андрей тянется за пачкой.

Выбивает сигарету. Прикуривает. Затягивается. Капляет. Сплевывает красную слюну.

— Да куда уж доходчивее? И так все разжевал. В рот положил. А ты никак не въедешь. Идиота кусок...

Андрей делает глубокий вдох. Медленно выдыхает. Если считать по губам, видно, что он считает до десяти.

— Когда ты во втором классе разбил Конструктор, это было совпадение.

Андрей говорит. Очень серьезно:

— Отец сам упал.

Он говорит:

— Ты тут ни при чем.

И добавляет:

— В жизни, поверь мне, и не такие совпадения случаются.

Аркаша чувствует, как учащается сердцебиение. Как ноги становятся ватными. Как напрягаются мышцы живота, а в горле скапливается горький сгусток.

Он хочет что-то сказать (наверное, чтобы Андрей заткнулся), но слова застревают в глотке. Вязнут на зубах.

— Но ты, будучи натурой крайне впечатлительной (весь в папашку, как сказала бы твоя мать), решил, что имеешь самое непосредственное отношение к инфаркту и сломанным ребрам Сергея Сергеевича. Более того, ты еще и приплел к этому Конструктор. А он — всего-навсего кусок пластмассы. По крайней мере, был им...

«Да что ты тут несешь вообще?» — хочет спросить Шелестов, но губы отказываются двигаться.

Все, что он может делать — это слушать. Какая-то сила удерживает его на месте.

Андрей говорит:

— Слышал когда-нибудь об ордене Недослышавших?

Аркаша отрицательно мотает головой.

Длинный с гордостью произносит:

— С одним из его членов ты имеешь честь говорить.

Он утвердительно бьет себя кулаком в грудь. И добавляет:

— Еще нас иногда называют Недопонявшими.

И пристально вглядывается в Аркашино лицо.

— Сами мы предпочитаем звать себя Теми-Кто-Стоят-Рядом.

— Рядом с чем? — хмурится Шелестов.

— С истиной, темень ты ариманская! — Андрей срывается на крик.

Он топает ногой и снова сплевывает. Слюна попадает на носок белого кроссовка.

«Бешеный, — констатирует про себя Аркаша. — И ругается как-то странно».

Андрей снова вдыхает и шевелит губами — на этот раз, кажется, произносит не то молитву, не то мантру.

— В общем, я пришел сюда, чтобы тебе кое-что объяснить. Зачем мне это надо, даже и не спрашивай. У меня кое перед кем имеются кое-какие обязательства. Скажем так, услуга за услугу, — он мельком бросает взгляд вправо-вверх. — Этот кто-то, скажем так, расположен к тебе. И еще он имеет кое-какой авторитет в кое-какой области. Вот.

«Кое-кто», «кое-какие обязательства», «кое в какой области» — Аркаша уже решил для себя, что не сможет понять долговязого придурка. Главное — дослушать его. Дождаться, пока он выговорится власть и, наконец, отпустит.

«Если отпустит, конечно», — нашептывает мерзкий голосок внутри.

— Я помогу тебе, а он поможет мне, — хрипит длинный и сплевывает густую алую слюну. — Потому что если не он, мне уже никто не поможет.

На несколько секунд его лицо снова становится серьезным — как в автобусе, когда он рассказывал о сестре. Кажется, Аннушке.

— Я, как уже говорил, принадлежу к тем, кто стоит рядом с истиной. Но это не значит, что я ей обладаю.

Он ухмыляется.

— Понимаешь, мы, Те-Кто-Стоят-Рядом, подобны туземцам, которые нашли зажигалку, пользуются ей, но понятия не имеют, как она устроена.

Улыбка становится шире. Ниточка кровавой слюны тянется от верхней губы к нижней.

— Мы похожу на пожилую чиновницу, которая знает, как включить компьютер, как пользоваться «вордом», как разложить пасьянс, но дальше — ни зуб ногой.

Его глаза блестят:

— Мы кое-что сечем в следствии, но не понимаем причины.

Андрей снова смотрит влево-вверх. Тут Аркаша понимает, что доходяга приглядывается к чему-то над его правым плечом. Инстинктивно глядит туда же.

Ничего.

— Как ты считаешь, из-за чего умерла моя сестренка?

Шелестов пожимает плечами:

— Ты же сам рассказывал: покончила жизнь самоубийством.

— Да разъети тебя в чакры! — далее следуют две минуты отборной матерщины, пересказывать которую, пожалуй, не имеет смысла.

Успокоившись, Андрей смиренно смотрит на шелестовское плечо.

— Я пытаюсь. Честное слово, пытаюсь... — быстро-быстро произносит он.

И продолжает:

— А как по-твоему, из-за чего она покончила с собой?

Боясь навлечь на себя очередную вспышку гнева, наш герой молчит.

Поняв, что отвечать ему не собираются, Андрей вздыхает.

— Хорошо, зайдем с другой стороны. Тебе не кажется, что это как-то связано с проклятием, способностью сглазить, которой она (как она сама считала) обладала?

Шелестов пожимает плечами. Мол: ну да, может быть.

— Так вот, мы, Те-Кто-Стоят-Рядом, знаем, что никаких проклятий не существует.

Голова Шелестова втягивается в плечи. Пальцы сжимаются в кулаки.

— Существуют сонники. Они-то и забрали мою сестренку.

Плевок. Красная слюна.

— Они забрали твоего отца. А теперь хотят прикарманить и тебя.

44.

Сонники, говорит Андрей, живут рядом с нами. Но обычные люди их не видят. Хотя иногда и ощущают их присутствие.

Сонники очень тщательно отбирают своих жертв. А без жертв они не могут. Жертвы — это их подпитка. Только за счет жертв

они и существуют. За счет их энергии. Потому что своих источников энергии у сонников нет.

Жертвы — их батарейки.

Сонники ищут людей, которые погружены в свои воспоминания. В неприятные воспоминания.

Им нужны люди, постоянно испытывающие чувство вины, говорит длинный и ковыряет ногтем в окровавленных зубах.

Чтобы человек стал жертвой сонника, его чувство вины должно быть сверхсильным. Оно должно засесть в человеке глубоко-глубоко. Должно срастись с человеком. Это происходит не сразу.

Человек подпитывает свою вину. Растит ее. Подкармливает. И тогда сонник начинает потихоньку питаться за счет человека. Точнее, питаться самим человеком.

Постепенно человек привыкает к своему чувству вины. И через некоторое время уже не может без него существовать. Подсаживается на него, как на наркотик. Или на сладкое.

Длинный смотрит на дымящуюся сигарету у себя в руках. Она почти догорела.

— Вся проблема в том, что до самого последнего момента человек не отдает себе отчета, насколько глубоко его чувство вины. А потом, в девяти из десяти случаев, уже поздно.

Андрей проводит пальцем по верхнему ряду зубов.

Но у тебя еще есть шанс, говорит он. Ты просто должен все понять. И сделать правильный выбор. Поэтому я здесь.

— Когда моя сестренка в сердцах пожелала мужу смерти и он после этого свернул себе шею — это была случайность. Совпадение. Пусть и редко, но такое случается. Муж умер — значит, ему пришла пора уходить. Значит, такое решение было принято.

Принято кем — хочет спросить Аркаша. Но предпочитает промолчать. А его собеседник смотрит на Аркашино плечо.

— Понимаешь, нельзя насладиться на кого-то проклятием. Если это можно было бы сделать, то все в жизни оказалось бы слишком просто.

Представляешь, сколько людей во Вторую мировую желали смерти Гитлеру? Сколько матерей проклинали того, кто повинен в смерти их сыновей? Сколько жен проклинали убийцу их мужей? Не берусь утверждать, но, думаю, миллионы. Если не десятки миллионов. И что — подействовало? Гитлер ушел с арены только спустя шесть лет после начала войны, выкупавшись в крови миллионов. Вдоволь наевшись человечины. И ушел лишь потому, что так решили.

Снова — короткий взгляд на шелестовское плечо.

— Решения принимаем не мы. А все, что мы можем — это своими проклятиями навлечь неприятности на свою...голову. Если хочешь, можешь думать, что, проклиная других людей, ты на самом деле проклинаешь себя. Хотя это и не совсем верно. Главное, не думай, что это ты убил своего отца. И всех остальных.

Шелестов закрывает глаза и видит их. Отца, скрючившегося на диване. Беременную Оксану. Аню, которая лежит в сточной канаве. Он смотрит на них, а они смотрят на него. Их губы шевелятся, но не издают никаких звуков. Немое кино.

— На самом деле, направляя на кого-то свою энергию — темную энергию — ты направляешь ее на самого себя. А сонники этим пользуются. Они сосут ее, тянут, как палач тянет жилы жертвы. Как рыбак тянет рыбу из речки. И часть этой энергии направляют на то, чтобы поддерживать в тебе чувство вины. Получается такой круговорот вины в природе.

Сонники — паразиты. И как настоящие паразиты, они понимают — если хозяина не станет, им придется искать новый источник пищи. Поэтому они делают так, чтобы ты испытывал чувство вины снова и снова. А уж оно-то гложет тебя постоянно, с того самого момента, как ты узнал о смерти Оксаны. Оно произошло из твоего страха перед Конструктором. Так часто бывает: страх, потом — вина.

Андрей говорит:

— Оксану убили они. И Олю. Убили, используя твою энергию. Играя на твоём страхе перед Конструктором. Ты ведь так перепугался, когда впервые швырнул его о стенку, а потом узнал, что отец чуть не умер.

Он говорит:

— Это замкнутый круг, сечешь? Они берут твою энергию. Часть ее они употребляют в пищу, а часть используют для того, чтобы ты вырабатывал новую. Пускают ее в оборот, как хорошие дельцы.

Дождь усиливается. Андрей смотрит на небо и произносит:

— Ты должен принять решение. И сделать это надо очень быстро.

Какое решение — хочет спросить Аркаша. Но вместо этого говорит совсем другое:

— А ты сам-то их хоть раз видел? Этких...сонников?

— Видел, — отвечает Андрей, и перемазанные кровью губы растягиваются в улыбке. — Забавно они смотрятся. Кому-нибудь — такому же впечатлительному, как ты — они могут показаться страшными. А по мне — так клоуны.

Длинный пытается рассмеяться, но смех переходит в кашель. Сквозь стиснутые зубы он говорит:

— Мужики сисястые... идиотизм...

И добавляет:

— Лет сто назад жил один писатель. Чувствительный — дальше некуда. Воображение богатое, но больное. Сонники его быстро к рукам прибрали. И когда это произошло, стал он уж совсем жуткие вещи писать. Все про смерть да про темноту. А другой писатель, когда эти его вещи прочитал, сказал: «Он меня пугает, а мне не страшно».

Дождь теперь льет так сильно, что Шелестов с трудом различает человека напротив. Контуры сливаются в размытый силуэт.

— Тот, второй, — говорит силуэт, — к нему сонники не смогли подобраться.

— Почему?

— Потому что он не смотрел в их сторону. Не спал на ходу. Не ковырялся в себе ежечасно. Чувство вины у него, как и у любого смертного, имелось — но он не позволял этому чувству довести себя до испуга.

Силуэт кашляет.

— Они ведь поэтому сонниками и зовутся, что сон на разум наводят. Способствуют развитию воображения. Такого вот богатого, как у тебя. Помогают фантазировать. А рациональное начало сводят на нет. А чрезмерно развитая фантазия без разума — это жуть. Турик. Ад.

Шелестов что-то припоминает. Что-то из институтской программы... Кажется, на одной из лекций рассказывали о двух писателях — и один ляпнул про другого как раз что-то в этом духе. Да, именно так и сказал.

«Он меня пугает, а мне не страшно».

Почти всю лекцию Шелестов благополучно проспал — ночью накануне слушал, сидя на диване, сладкие напевы женогрудого старика — но вот эту фразу запомнил.

Стоп! Так неужели Андрей сейчас говорит о тех двоих? Неужели...

Даже сквозь дождевую дробь слышно, как Андрей издает короткий смешок.

— Сонники существуют столько же, сколько и люди. Некоторые из Недопонявших даже полагают, что когда-то они тоже были людьми. Но всей правды мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Силуэт — или Шелестову это кажется — начинает терять очертания.

— Ты бы удивился, если бы узнал, сколько среди их жертв великих философов, поэтов, писателей, политиков. К каждому сонники находят свой подход. Твой Конструктор, как ты уже начал

догадываться, всего лишь выполняет роль проводника между ними и тобой.

Конструктор — это модем.

Такой объем информации не укладывается у Шелестова в голову. Он моргает. Мотает головой.

— Иногда они поработают целые семейства. И тогда потомки начинают считать, что несут на себе некий проклятый дар, который давным-давно навлекли на себя их предки. Что могут вредить другим людям. Даже убивать. Но на самом деле все зло творят не они, а сонники.

— Розенкрейцеры были правы, — произносит силуэт Андрея — точнее, его верхняя половина: нижняя куда-то исчезла. По крайней мере, Шелестов ее не видит. — Своими желаниями и страхами, своей ненавистью и болью мы действительно можем магическим образом изменять окружающий мир.

Гром гремит очень близко — странный, неестественный для середины апреля. Кажется — еще чуть-чуть, и из-за пелены дождя на пустырь шагнет великан с огромным барабаном в руках. Барабаном, обтянутым человеческой кожей и украшенный костями самоубийц.

— Розенкрейцеры ошиблись только в одном: все эти изменения производим не мы, а те, кто манипулируют нашей злобой и страхом. Поддерживают их в нас с помощью чувства вины.

Те, кто едят наши души.

И если ты не примешь решение, они окончательно заполучат тебя, а потом примутся за твоих детей. Потому что дети посмотрят на такого папашу, как ты, и тоже поверят.

Фигура Андрея растворяется. Лишь сощурившись, Шелестов может сквозь ливень разглядеть что-то, похожее на голову и плечи.

— Стой! — кричит он. Ему не дает покоя еще один вопрос. — Но ведь мой дед не был впечатлительной личностью.

Он кричит:

— Отец, я — это понятно. Но дед-то был суровым мужиком, никак не склонным к сентиментам. С чего вдруг эти твои сонники заприметили его?

Пустота отвечает ему хриплым голосом Андрея:

— У них своя логика. Порой нам, Недопонявшим, совсем неясная. Порой они выбирают себе жертву из самых, казалось бы, неподходящих кандидатур.

Голос смешивается с шумом дождя.

— У каждого внутри сидит чувство вины. Сонникам всегда есть за что ухватиться. Они всегда отыщут рычажок, на который

можно надавить. А так называемых «непечатлительных», «неглубоких» людей порой побороть еще легче. Покажи им красоту, ткни их в собственное уродство — и они не выдержат. Вмиг сломаются. Руки на себя наложат. А если сил не хватит — тут сонники на подмогу подоспеют.

Шелестову делается плохо. Накатывает приступ тошноты. От понимания того, что всю сознательную часть своей жизни рядом с ним находился тот, кто оторвал голову его деду, по коже пробегают стаи мурашек.

— Ну вот, пожалуй, и все... — голос быстро затихает, словно кто-то крутанул до минимума ручку громкости.

— А я-то — я-то какое решение должен принять? А? — кричит Шелестов на стойку от ворот.

— Вот придурок-то... да... это — уже диагноз, — Аркаша до конца своих дней будет сомневаться, действительно ли услышал эти слова.

— Зачем ты мне помог? Перед кем у тебя обязательства? Какую услугу тебе окажут взамен? — выпаливает Шелестов. Но слышит лишь приглушенный, звучащий издалека кашель.

Он чувствует, что удерживавшая его на месте сила исчезла. И теперь он может идти.

Но куда?

Что он вообще должен сделать?

И тут Аркадий Шелестов вспоминает, куда и зачем он направлялся.

Он смотрит на черный пакет, который на протяжении всего разговора продолжал сжимать в руках.

45.

Странное дело — как только Шелестов покидает пустырь, дождь прекращается. Словно наверху кто-то перекрыл кран.

Шлепая по месиву из воды и снега, он прокручивает в голове произошедший между ним и Андреем разговор.

Если верить длинному, существует некая раса (группа, сообщество, каста), которую называют сонниками. Или они сами так себя называют?

Стоп.

Сейчас это не имеет принципиального значения. Важно то, что эти сонники отыскивают среди людей самых впечатлительных, самых нестабильных, самых чувствительных — одним словом, тех, кто больше других подвержен чужому внушению. Тех, кого легко ввес-

ти в заблуждение. А способов ввести в заблуждение у сонников много. Один из них — самый распространенный — повесить на человека тяжкое бремя вины.

Именно это они сделали с его отцом, а потом и с ним, Аркашей Шелестовым.

Миссия Андрея, если Аркаша правильно понял, в том, чтобы помочь ему избавиться от чувства вины. Дать понять, что никого он не убивал.

Если верить Андрею, те события, произошедшие во втором классе, были просто результатом совпадения.

Первые за несколько лет лицо Шелестова-младшего светлеет. Морщины, уже успевшие прочно обосноваться на лбу, разглаживаются.

Слева, из-за гаража, выглядывает бородатое лицо. Парень знает, что стена постройки скрывает женскую грудь. Аркаша вспоминает слова Недопонявшего Андрея (который сам предпочитал, чтобы его называли Тем-Кто-Стоит-Рядом):

«А по мне — так клоуны какие-то».

Шелестов улыбается на ходу и показывает соннику «фак».

Сонник скалит зубы. Еще секунда — и он кинется на юношу, вцепится ему в горло, схватит за шею волосатыми ручищами. Но вместо этого выродок... прячется за гаражом.

Аркаша улыбается еще шире. А когда из-за спины до него доносится приглушенное хныканье, к улыбке присоединяется изумление.

Неужто все-таки...

Неужели и они бывают такими же, как мы? Слабыми? Расстроенными? Может, правы те из Недопонявших, кто считают, что сонники — бывшие люди?

Что этот сонник ощущает сейчас?

Пустоту?

Разочарование?

Страх одиночества?

Аркаша нагибается и лепит хиленький, серый снежок. Подкидывает в руке. Ловким движением отправляет прямо в стену гаража.

Через несколько минут он достигает цели своей прогулки.

Вот она — рощица, в которую он направлялся — до того, как повстречал на своем пути Андрея. Человека из сна. Недопонявшего. Одного из Тех-Кто-Стоит-Рядом.

Искривленные стволы деревьев, почерневшая земля, большие лужи — все это сильно похоже на Свиной овраг. Только овраг — он где-то там, далеко, за сотни километров, а рощица — здесь, прямо под боком.

Она долгие годы словно ожидала его появления. Знала, что та головоломка, тот путь, на который он ступил во втором классе (и который про себя всегда считал Проклятым путем), закончится именно здесь.

Но теперь, достигнув конечной точки своего пути, он задумывается: а стоит ли осуществлять то, что он собирался выполнить?

Да и что вообще он хотел сделать?

Он снова смотрит на пакет. Сдавливает его холодными пальцами. Смотрит по сторонам — влево-вправо-вверх-вниз — словно стараясь отсрочить неизбежное. Отдалить момент, когда все-таки придется заглянуть внутрь.

Надо ли вообще делать это?

Он снова и снова задается этим вопросом — но здесь нет никого, кто мог бы его услышать. И тем более — никто не может дать ответ. А если и есть кто-то, то он молчит. Возможно, именно этот «кто-то» подослал к Аркаше странного собеседника, заключив с последним непонятную сделку. Но сейчас этот некто предпочитает наблюдать.

Аркаша вспоминает слова Андрея.

«Главное — понять, что я ни в чем не виноват».

Из-за ближайшего дерева появляется бородатое лицо. В этом лице нет всегдашней ярости, всегдашнего злорадства.

Сонник просто смотрит.

Издалека доносится приглушенный голос отца. Как всегда, голос полон печали, но на этот раз (или это кажется Аркаше) сквозь извечную тоску прорывается... что-то вроде надежды.

Голос отца звучит в его голове.

«Давай, сынок. Ты можешь это сделать».

Аркаша видит, как из-за сплетения ветвей выходит Сергей Сергеевич.

На нем вылинявшие спортивные штаны. Белая майка. На левой руке часы с синим циферблатом. На ногах — домашние тапочки.

К горлу Шелестова-младшего подступает комок. На глаза наворачиваются слезы — неожиданные для него самого. Он хочет сказать отцу, что тот может простудиться — но тут же понимает, как глупо это будет звучать. А секунду спустя Шелестов-старший улыбается ему.

«Надо быть, как писатель — тот, второй, который не подпускал к себе сонников», — это уже его, Аркашины, мысли.

«Надо прекратить жить вчерашним днем. Прекратить терзаться из-за глупого, необоснованного чувства вины».

«Надо выпрямиться и сбросить с себя чувство вины»...

...Но как может выпрямиться тот, кто всю жизнь проходил, согнувшись?

В голове его звучит новый голос. Тихий, слабый — не голос даже, скорее голосок — он принимается вкрадчиво бормотать: «А ты, дорогой, уверен, что это твое чувство вины такое уж необоснованное?»

Выражение лица Сергея Сергеевича меняется. Улыбка сменяется гримасой ужаса.

«Действительно ли ты ни в чем не виноват? Ведь, когда ты тыкал ручкой в Конструктор, ты действительно желал зла Оксане. И когда побелевшими от напряжения пальцами сжимал эту пластмассовую ерундовину, ты злился на Киллера».

Сергей Сергеевич мотает головой из стороны в сторону. Слово хочет сказать: «Не слушай. Сопrotивляйся».

Голосок набирает силу.

«И уж если быть совсем честным, то разве ты не держал злобу на отца — самую настоящую злобу — прямо перед тем, как случайно уронить Конструктор с подоконника? А после этого отец взял да и умер...»

«Может быть, ты задел шкаф не так уж и случайно?»

На лице сонника снова появляется улыбка.

«Может, дружок, ты все-таки ненавидел отца? В глубине души. Ну хотя бы за ту фразу. Которую он произнес, узнав, что ты не сможешь заниматься самбо? Ты ведь помнишь ее? Если нет, позволь освежить тебе память. Отец спросил: «На хрен ты мне теперь нужен?»

Голосок в голове кажется Шелестову до боли знакомым. Если отбросить интонацию и прислушаться к тембру, то его вполне можно назвать чарующим. Он где-то уже слышал его.

Голосок говорит, почти напевает:

«Может быть, сонники и проделали за тебя основную работу. Но твои эмоции в тот момент, когда ты колдовал над Конструктором, были очень даже настоящими. И именно эту энергию злобы, страха и ненависти сонники использовали для того, чтобы убивать.

Значит, ты все-таки убийца».

Призрак отца приседает на корточки и закрывает лицо руками.

Голосок затихает, и, пока длится пауза, Аркаша слышит тихие всхлипы.

«Ты все-таки убийца. Хочешь ты этого или нет», — фразу завершает залихватый девичий смех.

Тот самый голос, который напевал ему по ночам. Только почему-то звучит он на несколько тонов ниже. А может — и на целую октаву.

Может, это голос сонника?

Может, когда сонникам надо воздействовать на эмоции жертвы, они поют. А когда требуется ее в чем-то убедить — бормочут таким вот голоском.

Не важно.

Аркаша понимает, что голос прав.

Он действительно убийца.

Именно эта мысль не давала ему покоя с того самого момента, как они расстались с Андреем. Именно от нее он пытался отбиться на протяжении всего пути до рощи. От нее хотел спрятаться за ширмой смеха. Все эти снежки и «факи» — просто бравада.

Теперь он это понимает.

Бородач выходит из-за дерева. Теперь видна женская грудь.

Он направляется к Шелестову-старшему, который продолжает сидеть и рыдать. Сонник подходит, кладет руку ему на плечо. Второй рукой достает что-то из кармана грязных, мешковатых штанов.

Приглядевшись, Аркаша видит, что это веревка. Длина — около метра. Сонник завязывает петлю — ловким, судя по всему, годами (а может — столетиями) отработанным движением. Надевает на шею Сергея Сергеевича.

«Нет!» — хочет закричать Аркаша.

Он хочет кинуться на помощь отцу.

Отец ведь всегда был таким слабым.

Отец не сможет постоять за себя.

Но его ноги не двигаются. Ноги словно сковал паралич. Покрытой мурашками коже скатываются бисеринки пота. Из рта вырываются облачка пара. Аркаша похож на предельно натуральную имитацию человека, которой для полного сходства не хватает только заговорить и начать двигаться. И именно это он не в состоянии сделать.

«Ты убийца».

Сонник затягивает петлю и рывком поднимает Сергея Сергеевича на ноги.

И Аркаша понимает. Понимает все.

Только что душа отца могла освободиться из-под власти сонника. А сонник снова захомутал ее. Теперь уже, скорее всего, навсегда.

Он мог освободить отца, и, тем самым, хоть немного реабилитироваться перед ним. Но не сделал этого.

«Ты убийца, милый. И теперь ты убил своего отца дважды».

Аркашу бьет крупная дрожь.

Внутри, на уровне солнечного сплетения, словно надувается воздушный шарик.

Шарик становится все больше и больше.

Вот он размером с сердце. С легкие.

Полностью заполняет собой грудную клетку.

Упругая пленка расталкивает все на своем пути. Давит на кишечник. На мочевой пузырь. Аркаша чувствует, как по ноге стекает теплая струйка. Как намокает носок в ботинке.

«У тебя есть последний шанс», — полунапевает сонник. Это — тот самый голос, что убаюкивал его долгими ночами. Когда он лежал на кровати и вдыхал запах табака. Вечный запах. Не выветривающийся, сколько ни держи окно открытым.

Когда он прислушивался к темноте за окном.

Сегодня все говорят ему о последнем шансе.

Он опускает взгляд на черный пакет.

«Если хочешь избавиться от проклятия, сделай то, зачем ты сюда шел».

Голос уже не напевает. Теперь он по-настоящему поет. Звуки винчиваются в холодный воздух. Оставляют в сумерках тонкие, похожие на капилляры, дорожки.

«Проклятия не существует», — еле слышно выдавливает из себя Аркаша. В ответ ему звучит звонкий девичий смех.

«Сделай то, что задумал, и я отпущу твоего отца, — голос сливается с шелестом прошлогодних листьев на ветвях. — Ты останешься со мной. Извини уж, но в тебе слишком много той энергии, которая нам нужна. А вот папашка твой нам без надобности».

Сергей Сергеевич смотрит на сына. В полутьме Аркаша не видно его глаз.

Вместо глаз — две черные дыры. Две кляксы.

«Папашку твоего мы уже опустошили. В принципе, нам проще его отправить в Алый Чертог. Но если ты сделаешь то, зачем пришел, мы его отпустим. Слово сонника»

Короткий смешок.

Голова Шелестова-старшего вжимается в плечи.

«Алый Чертог — это место для таких, как он. Для тех. Кто проспал всю жизнь».

«Это место для тех, кто всю жизнь являлся трупом».

Сергей Сергеевич сутулится. Бородач бьет его по спине, чтобы тот распрявился. Видно, как от резкого движения кольшутся груди.

«Ну так что?»

Аркаше кажется, что он вернулся в детство. Что весь мир вокруг неотрывно смотрит на него.

Он ловит на себе взгляды сонника, отца. Откуда-то издалека — он в этом уверен — за ним наблюдает Андрей и тот, с кем он заключил непонятную Аркаше сделку.

Он чувствует взгляды, обращенные на него из холодной грязи под ногами.

Из складок древесной коры.

Из расщелин между кирпичами.

Он смотрит на себя со стороны и видит маленького мальчика, застывшего посреди детской площадки.

Вокруг него другие дети. Чуть позади них — старушки-нянечки на лавках.

Двор затих. Солнце скрылось за пятиэтажкой. Видно, как на деревьях подрагивают листья — но подрагивают не от ветра, а отрастающей по стволу вибрации.

Что-то должно произойти. Что-то, после чего мир никогда не будет прежним.

И он принимает решение.

Сковывавший конечности паралич пропадает.

Аркаша разворачивает пакет.

ЧАСТЬ VI

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

47.

Гром сразу напугал Олю.

И дело даже не в том, что в это время года никакого грома не должно быть. По определению.

Ее напугало то, как он звучал — сама интонация, тембр. Словно кто-то очень большой быстро-быстро бил в барабан. Один удар, если прислушаться, состоял из сотни маленьких.

Гром приближался издалека, с каждой минутой делаясь все сильнее. В нем было что-то неестественное — но что именно, девушка сказать не могла. По мере того, как звук усиливался, ее руки все крепче вцеплялись в подлокотники кресла.

Совсем неподалеку что-то происходит. Что-то плохое. И это как-то касается ее Королевы.

Раскат грома звучит совсем близко. Оля вздрагивает — одновременно с оконным стеклом.

По окну начинают барабанить капли дождя. Вначале редкие, как пылинки на витрине модного магазина, они резко прибавляют в числе.

Вот уже целая армия прозрачных пылинок штурмует их с мамой жилище. Черно-белый пейзаж становится размытым и больше напоминает картину импрессиониста, чем вид из окна.

Из зала доносится голос Андрея Малахова. Слышен тихий стук. Лежащая на диване мама поставила стакан с чаем на журнальный столик.

— Ирина утверждает, что отец ребенка — не Ярослав, а кто-то... — голос ведущего тонет в громовых раскатах.

Оля закрывает глаза и видит большой пустырь. Посреди него стоят два человека. Сверху обрушиваются потоки дождя, но ни один, ни другой не замечают этого. Они о чем-то разговаривают. Точнее, говорит в основном тот, что выше ростом. Он одет в зеленую куртку. Его губы шевелятся, но Оля не может разобрать слов. Второй — значительно моложе, примерно ее ровесник — молча слушает.

Она ни разу не видела ни одного, ни другого. Но внутренний голос подсказывает — молодой имеет какое-то отношение к Любви Игоревне.

Он может причинить вред Королеве.

Оля видит, как вокруг его головы извиваются продолговатые черные тени. Очень похоже на угрей.

В коридоре звонит телефон.

— Оля, возьми трубку! — мамин голос прорывается сквозь дробь дождя.

Человек в зеленой куртке исчезает. Парень разворачивается и идет к краю пуста.

Она должна его остановить.

Оля понятия не имеет, что он собирается сделать, но твердо знает — она должна ему помешать.

Она не может позволить, чтобы ее учительнице сделали плохо. Ее Любви Игоревне. Королеве.

Оля разворачивается и катит кресло к входной двери — мимо тумбочки с надрывающимся телефоном, мимо зала. В телевизоре Малахов передает микрофон кому-то из зрителей.

Оля накидывает мамино пальто. Ее куртка висит слишком высоко, а просить маму подняться и снять ее с вешалки нет времени.

С растрепанными волосами, в накинутом на плечи пальто Оля выглядит как пародия на кавказского горца.

— Дочка, ты куда? — кричит из зала Наталья Михайловна.

Она слышала, как открылась входная дверь. В ее голосе тревога.

Не ответив, Оля выкатывает кресло на площадку.

На тумбочке надывается телефон. Наталье Михайловне придется самой взять трубку.

48.

Четвертый день Аркашина мама не поднимается с кровати. Исключение делает только когда надо дойти до туалета. Или когда необходимо приготовить поесть. Себе и сыну. Сын, правда, в последние дни к еде не притрагивался. Он вообще почти не выходил из своей комнаты. А пару часов назад куда-то спешно ушел с большим черным пакетом в руках.

Две ночи подряд Любовь Игоревна видит один и тот же сон. В нем она находится на дне большого оврага, посреди которого течет ручей. Всюду, куда ни глянь — черные стволы деревьев.

Она долго оглядывается по сторонам, словно что-то выискивает. Наконец, отчаявшись, хочет развернуться и зашагать прочь — к краю оврага, по которому надо будет карабкаться вверх. Чтобы выбраться наружу. Но ее останавливает голос.

По ручью плывет коробка. Голос доносится из нее. Он что-то напевает. Мелодия кажется знакомой.

Во сне Любовь Игоревна бросается к ручью и хватает коробку. Открывает. Коробка заполнена маленькими деталями конструктора.

Мама Аркаши держит ее в руках. Потом бесстрашно запускает руки внутрь. Она похожа на ту самую Любу, которая когда-то шагнула навстречу темному силуэту, зависшему в воздухе над переулком.

Нельзя поддаваться страху.

Ее пальцы касаются чего-то неровного и теплого. Затаив дыхание, Любовь Игоревна вынимает свою находку из коробки.

Голова Аркаши. Только это одновременно и его голова... и не его.

Вместо зубов из десен торчат белые пластмассовые брусочки, а оттуда, где должен начинаться позвоночник, выходит тонкая спиралевидная спица.

Когда голова поет, из ее рта падают кусочки пенопласта.

Проснувшись, Любовь Игоревна долго лежит в пустой комнате с закрытыми глазами. Слышно, как в темноте тикают часы.

Женщина знает, что совсем неподалеку, за стеной — ее сын. Или, как ей все чаще начинает казаться, отдаленно напоминающее сына чужое, незнакомое существо. И это существо сейчас тоже не спит — движимое непонятными ей целями, оно чем-то занято.

Когда наступает утро, Любовь Игоревна осторожно проходит мимо спальни и слышит, как из нее доносится шорох бумаги. Точнее — слышала до сегодняшнего дня. Потому что пару часов назад Аркаша куда-то ушел. С черным пакетом.

Скрестив руки на груди, она стоит у окна и ждет. Точно так же она ждала возвращающегося с очередной пьянки мужа. Только между тем и теперешним состоянием есть существенная разница.

Тогда она была уверена, что муж рано или поздно заявится, выдыхая винные пары и бормоча какую-то несусветицу.

Сейчас Любовь Игоревну гложет непонятное предчувствие. Ощущение тревоги, беспрестанно терзающее ее вот уже несколько лет, на этот раз переросло в спокойную уверенность.

Сегодня что-то непременно случится. От этого даже становится немного легче.

Она устала жить в постоянном ожидании. В конце концов, она просто женщина. И, бог свидетель, она перенесла достаточно. Заслужила же и она покой!

Аркашина мать смотрит в окно.

Из арки появляется Оля.

Быть того не может.

Ссутулившаяся, с всклокоченными волосами, в волочащемся по грязи сером пальто, Оля отчаянно крутит колеса кресла. Несущаяся

через двор, не замечающая встречающихся на пути луж, девушка напоминает участника каких-то экстремальных, совсем уж безумных гонок.

Любовь Игоревна некоторое время, оцепенев, смотрит на свою ученицу. Потом кидается к двери — но на полпути останавливается.

Она не успеет догнать Олю. Та покинет двор еще до того, как она спустится в лифте.

Девушка движется очень быстро. Словно ее подгоняет какая-то сила.

Аркашиной матери остается только наблюдать за тем, как Оля скрывается из виду.

Девушка исчезает в арке. Движимая новым предчувствием, Любовь Игоревна идет в комнату сына. С опаской открывает дверь — словно боится, что на нее тут же кто-то набросится. Вцепится ей в горло зубами. Примется душить. Но ничего не происходит.

На первый взгляд, ничего не изменилось.

Стоп.

Приглядевшись, она выхватывает из обстановки одну новую деталь.

Поделки из конструктора — те самые, что когда-то пылились на шкафу в зале, а потом вместе с Аркашей переехали в спальню — исчезли.

49.

Два шага вправо. Четыре вперед. Два назад.

Шелестов движется, как пьяный танцор. Или, наоборот, как слишком уж продвинутый танцор, танец которого настолько замысловат, что рядовой обыватель не в силах понять его; не в силах увидеть в движениях смысл и гармонию.

Иногда он возвращается на одно и то же место. Каждый раз, когда останавливается, выкладывает из пакета одну или несколько фотографий. Кладет сверху деталь Конструктора.

Он вернулся обратно. На пустырь.

Действуя в соответствии с какой-то извращенной логикой, он хочет, чтобы именно здесь все закончилось. В месте, где ему приоткрылась истина. Где у него был пусть небольшой, но все-таки шанс изменить ход событий.

Иногда, чтобы фотографии не унесло, их приходится придавливать кусками кирпича. Аркаша предусмотрительно собирал их по дороге. Картинки пропитываются грязью.

Он должен торопиться. Что-то подсказывает ему, что времени мало. Очень мало.

Кто-то хочет ему помешать. Об этом Аркаше говорит сидящий на краю пустыря сонник. Видно, что он нервничает. Пальцы теребят штанины брюк.

Нервозность сонника передается Аркаше.

«Фотографию матери положи в центре», — говорит женогрудый старик. Его губы, само собой, не шевелятся.

Шелестов повинуется. В грязь рядом со следом от кроссовки ложится снимок улыбающейся Любви Игоревны. Рядом с ней — серьезный мальчик в школьной форме. Аркаша.

«Все, что ты можешь делать — это подчиняться мне, — шепчет голос. — Так будет лучше».

На разбросанных по земле фотографиях — Аркаша, его родители и редкие друзья.

Прекратившийся было дождь принимается с новой силой поливать пустырь.

Аркаша снова ощущает себя придатком, частью неведомого организма. Опять он выполняет чью-то волю. Это ощущение собственного безволия дарит ему покой.

Снова не надо ни о чем думать.

Не надо делать выбор.

Можно просто подчиниться чужеродной энергии, слиться с ней.

Сонник приказывает ему опуститься на колени — и он безропотно подчиняется приказу. Не выпуская из рук пакета, высунув кончик языка, на четвереньках переползает он от одной фотографии к другой. Передвигает части Конструктора. Проводит рукой по контурам запечатленных на снимках лиц. Своего. Мамы. Отца.

Как в детстве, он похож на алхимика. Только на этот раз ритуал вершится не на ковре, не в комнате малосемейки, а на заливаемом дождем клочке земли.

В перепачканной одежде, со слипшимися волосами, выбивая зубами мелкую дробь, Аркаша Шелестов готовится создать свой последний шедевр.

Сидящий на корточках сонник не отрываясь смотрит на Аркашу. Сквозь шелест дождя слышно, как из его рта вырывается тихое довольное поскуливание. С уголка губ свисает ниточка желтой слюны.

Аркаша останавливается, лишь когда замечает, что пакет опустел. Выкладывать больше нечего.

Он в растерянности смотрит по сторонам.

Что теперь?

Он как-то не задумывался о том, что будет делать дальше.

И тут сонник поднимается с места.

Неуклюжей походкой карлика существо ковыляет к самому центру пустыря. Туда, где лежит фотография, на которой запечатлены Аркаша и его мама.

— И что ты собираешься делать?

Впервые за долгие годы он обращается к соннику.

И сонник вместо ответа развязывает удерживающую штаны веревку.

Штаны падают в грязь.

Сонник присаживается рядом с фотографией и принимается петь. Голос смешивается со звуком громко выпускаемых газов.

Загипнотизированный, Аркаша смотрит, как бородач опорожняет кишечник.

Как протягивает руку.

Берет фотографию.

Подносит к заду.

И тут из-за спины Шелестова доносится пронзительный крик:

— Стояааать!

За криком следует отборная ругань.

Обернувшись, Аркаша не сразу верит своим глазам.

На краю пустыря появляется девушка в инвалидном кресле.

50.

Оля сама удивляется, откуда в ее арсенале столько матных слов.

Скрючившаяся в кресле, в мамином пальто, полы которого забрызганы грязью, она напоминает нелепую пародию на гарпию. Или на какого-нибудь демона.

Но настоящие демоны сейчас перед ней.

Оля останавливает кресло. От резкого торможения во все стороны летят комья грязи.

Она думала увидеть здесь жутких тварей. Маньяков. Упырей. А на пустыре — стоящий на четвереньках парень и сидящее на корточках существо непонятного пола. С бородой и большой женской грудью. Судя по куче между ног, существо только что облегчилось.

Из ее рта вылетает нервный смешок.

Она думала, что на пустыре ее будет ждать ад крошечный, а тут — два стремных чувака. Один дрицет, а второй пялится на него. Обоих она видела совсем недавно. Дома. Сидя у окна.

Кстати, тот, второй, кого-то ей напоминает. Но думать об этом нет времени.

И тут оба замечают Олю.

Вначале бородач.

Он пристально, сощурившись, разглядывает девушку в инвалидном кресле — словно пытается прикинуть, опасна она или нет. Рука с клочком бумаги — что это за клочок, не видно — застыла на полпути к заднице. Большая женская грудь упирается в колени.

Затем парень.

Переводит взгляд с девушки на старика и обратно.

Олина голова тяжелеет. На глаза опускается красноватая пелена.

В ее голове раздается шум. Шорох. Такой громкий, что закладывает уши.

Оле становится жутко. Наверное, еще никогда в жизни она так не боялась.

Каждое движение причиняет боль.

Парень продолжает тарашиться на нее. И тут она понимает, что ей знакомо не только его лицо. Старика она тоже видела.

В детстве.

Аккурат перед тем, как сделать колесо.

Раскаленный летний полдень. Запах нагретого асфальта. Оля делает замах руками. Сейчас ее ноги оторвутся от земли, и через секунду она снова встанет на них. Но в последний момент перед ней мелькает искаженное злобой старческое лицо. Больше она никогда не сделает этого. Никогда не встанет на ноги.

Оторвавшийся было от своего занятия бородач снова смотрит на клочок бумаги.

За пустырем появляется еще один человек. Из ниоткуда. Из воздуха.

Человек шевелит губами. Сквозь шорох в Олиной голове прорывается крик:

«Не дай ему сделать это!»

Оля мотает головой из стороны в сторону.

«Не дай!»

«Не дай!»

«Недайнедайнедаааааай!»

На человеке ярко-зеленая куртка. Он очень высокий, и видно, что куртка ему мала.

Человек говорит:

«Он не может себе помочь».

То есть вслух он этого не произносит, но Оля слышит его голос.

Оля сразу понимает, что длинный имеет в виду молодого.

Рука с бумажкой — по-прежнему не видно, что на ней изображено — движется к заднице. Неторопливо. Как в замедленном фильме.

Человек говорит:

«Он — как тот писатель. Не может держать их на расстоянии». Даже сквозь бороду видно, что старик улыбается. Еще чуть-чуть — и произойдет что-то очень страшное.

Не с ней.

С парнем и королевой, потому что они как-то связаны.

Человек скороговоркой произносит:

«Не важно, что за писатель. Долго объяснять. И не спрашивай, кого — «их». Ты здесь не за этим».

Он произносит:

«Просто этот парень позволяет кое-кому подтираться своей жизнью. Но сейчас этот кое-кто задумал подтереться не только его жизнью, но и жизнью другого человека. Близкого тебе человека».

Он говорит:

«Ты в состоянии этому помешать».

И добавляет:

«То есть, пока еще в состоянии».

Расстояние между листом и волосатой задницей — сантиметра три-четыре.

Порыв ветра сбивает бородатого с ног, и он плюхается в кучу собственного дерьма.

Оля понимает — чувствует — это высокий человек дает ей шанс. Единственный. Второго не будет.

Она нагибается. Указательным пальцем выводит на грязи круг.

И слышит вой.

Ей не надо поднимать взгляд, чтобы увидеть — это воет старик.

Воет, сидя в куче говна.

Пытаясь подняться.

Протягивая к Оле перемазанную коричневым руку.

В круге появляется человеческая фигурка. Надо торопиться, потому что дождь грозит уничтожить рисунок.

Бородатый старик кое-как встает и со спущенными штанами прыгает в ее сторону. Груды хлопают по животу.

Высокий человек в зеленой куртке, парень со знакомым лицом, старик с клочком бумаги в кулаке — все смотрят на нее.

Оля проводит линию. Линия получается смазанной, кривой — но все-таки рассекает круг с человечком внутри.

Старик прыгает. Роняет ее на землю. Вместе с креслом.

Сморщенные руки сжимаются вокруг Олиного горла. Точнее, пытаются сжиматься. Даже пребывая в состоянии шока, Оля чувствует, как силы покидают лежащее на ней существо.

Шорох в голове переходит в пение. Потом обрывается.

Сверху — прямо над ее лицом — бледная морда со свисающей из правой ноздри соплей.

Безжизненная морда.

Чьи-то руки стаскивают с нее труп. Оля делает глубокий вдох. Хочет поблагодарить того, кто помог ей — но рядом никого нет. То есть нет высокого человека. А стащил деда с нее, судя по всему, именно он. Потому что парень сидит на земле метрах в пяти от девушки с потеряннным видом. Он не то что кому-то другому — самому себе вряд ли смог бы помочь.

Оля приподнимается на руках. Берет из рук старика клочок бумаги. Это фотография. На ней изображена королева в компании мальчика, который сильно хмурится — то ли из-за ветра, то ли по какой другой причине.

Девушка поворачивает голову. Пристально смотрит на парня. И теперь понимает, кто перед ней.

Перед ней — сын Королевы.

Который только что чуть не убил свою мать.

ЭПИЛОГ

О нагретую оконную раму колотится муха. Обезумела, должно быть, от жары.

Что самое интересное — в двух-трех сантиметрах над ней форточка. Муха, разумеется, не видит ее. И не чувствует просачивающихся сквозь нее струек нагретого воздуха.

Форточка распахнута настежь, но внутри все равно жарко. Руки покрыты бисеринками пота. Майка прилипает к телу. Когда Аркаша отрывает большие пальцы, которыми придерживает страницы книги, на листах остаются длинные отпечатки.

«Пот».

Муха делает круги по стеклу. Оценивает обстановку. Потом снова принимается долбиться о прозрачную преграду.

Дыңц-дыңц-дыңц.

Чтобы отвлечься от жары, Аркаша садится на койке, свесив ноги. Пружины протестующее скрипят, но парень уже привык к этому звуку и не обращает на него внимания.

Аркаша просовывает ноги в тапочки, которые принесла женщина. Та самая, что приходит к нему каждый день.

Он знает эту женщину, но не может вспомнить — откуда. Когда пытается, начинает болеть голова.

Из-за окна доносятся гудки машин. Детские крики. Пение птиц.

На стене напротив — картина. Пейзаж. Пустая лодка посреди озера. Вода подернута рябью. На заднем плане видна полоска камышей, а за ней — размытый, плохо прорисованный лес.

Каждый раз, когда Аркаша смотрит на картину, он думает, как она здесь оказалась? В смысле, лодка. Как она оказалась посреди озера?

Ее оттолкнули от берега, позволив плыть по воле течений?

Или она потеряла управление после того, как кто-то выкинул из нее рыбака? Этот вариант почему-то кажется ему наиболее вероятным.

Рыбака ударили чем-то тяжелым. А, может, задушили.

Фломастером, который принесла женщина, Шелестов написал в углу картины: «Место преступления». Аккуратно. Мелко. Если не приглядываться, не заметно.

Это его новое хобби. Делать подписи.

Биение мухи о стекло учащается. Пулеметная очередь.

На тумбочке стоят две чашки. На одной фломастером написано: «Сок». На другой: «Вода».

Дверь открывается. В комнату входит женщина. За ней появляется девушка в инвалидном кресле.

Женщина говорит:

— Привет, сынок.

Девушка говорит:

— Привет.

Ее он тоже где-то видел. Раньше.

Иногда они — женщина и девушка — приходят вместе.

Женщина улыбается и спрашивает:

— Как дела?

Аркаша молча кладет книгу на тумбочку. Аккурат между чашками.

Рядом с окном стоит холодильник. «Лысьва». Женщина подходит к нему. Открывает дверцу. Открывает сумку и расставляет по полкам фрукты и коробки с соком.

Они сидят втроем и молчат — до тех пор, пока в палату не начинает заглядывать женщина в молочно-белом халате.

Медсестра ничего не говорит, но женщина и девушка в кресле-каталке понимают намек. Пора уходить. Время посещения истекло.

— Пока, сынок, — говорит женщина.

И девушка тоже говорит:

— Пока.

Когда они подходят к двери, Аркаша поворачивается к ним и просит женщину принести новые фломастеры.

На обратном пути женщина говорит девушке, что ей надо зайти к главному врачу.

Аркашина палатанаходится на первом этаже, и девушке не нужна посторонняя помощь, чтобы попасть на улицу. Девушка говорит, что подождет снаружи.

По словам врача, женщина скоро сможет забрать сына домой. Врач рассказывает, что Аркашу придется заново учить многим вещам.

Самостоятельно умываться.

Одеваться.

Чистить зубы.

Придется напоминать ему значение некоторых слов.

Любовь Игоревна делает долгий выдох. Во всем этом не чувствуется горечи. Скорее, она подготавливает себя к долгой упорной работе.

Учить — это то, что она умеет. В конце концов, именно это у нее получается лучше всего.

Врач говорит, что Аркаша уже почти отошел от шока.

Врач в очередной раз спрашивает — что же все-таки произошло? Тогда. Три месяца назад.

Любовь Игоревна только пожимает плечами.

Даже если бы она знала.

Даже если бы Оля рассказала ей.

Все равно она ничего не смогла бы объяснить врачу.

Она могла бы сказать, что тяжесть, которая давила на нее в течение нескольких лет, исчезла. Что теперь ей легко. Что, заходя в комнату сына, она больше не ощущает чьего-то присутствия.

Но разве все это поможет врачу?

Врач говорит, что Аркаша теперь — другой человек. Что он никогда не станет прежним. И никогда не вспомнит ни ее, ни ее покойного мужа.

Любовь Игоревна уже слышала все это.

Она прощается с врачом и выходит в коридор.

Надо подготовить Аркашину комнату к его возвращению. Вымыть полы. Убраться.

Да, и еще. Чуть не забыла.

Вообще-то, надо было сделать это давным-давно. Но она все не решалась.

Любовь Игоревна достает из дамской сумочки блокнот и быстро записывает убористым, почти мужским, почерком:

«Остатки конструктора. Выкинуть к чертовой матери».

Слово «конструктор» она пишет с маленькой буквы.

Проводит под предложениями жирную черту.

Вечером к Аркаше приходит новый посетитель.

Если та женщина входит в дверь (предварительно постучавшись), то этот — длинный мужик в зеленой, не по сезону теплой куртке — всегда появляется неожиданно и словно из ниоткуда. На этот раз он окликает Шелестова в тот момент, когда тот делает надпись на оконном стекле.

Фломастер старый, высохший, и приходится обводить буквы несколько раз.

После того, как женщина с девушкой ушли, он подошел к окну. Несколько раз махнул рукой — так, чтобы колотившаяся о стекло муха приблизилась к форточке. Все равно, муха не сразу поняла, где выход. Она несколько раз ударилась о прозрачную преграду, прежде чем вылететь наружу.

Может, в этом заключен какой-то смысл — всегда искать выход, даже если для этого нужно немного поударяться о стекло?

Голос из-за спины говорит:

— Мне это нравится.

Аркаша оборачивается на гостя. Потом возвращается к своему занятию.

Он работает над буквой «д».

Слышен скрип — это длинный садится на тумбочку.

Он говорит.

Каждый раз, когда он приходит, он начинает рассказывать о чем-то. О каких-то вещах, которые мало интересуют Шелестова. О вещах, в которых он не разбирается и разбираться не хочет.

Длинный говорит:

— Вообще-то, выйти из-под влияния сонников — ну, когда подсел на них так сильно, как ты — можно только одним способом. Умереть.

Аркаша заканчивает «д» и принимается за последнюю.

«А».

Фломастер скрипит под давлением.

Длинный говорит:

— Но с тобой вышло по-другому. Сам того не желая, ты их всех обманул.

Длинный говорит, что в каком-то смысле, Аркаша действительно умер. Что теперь он — новый человек.

Белый лист. Чистая страница. Заготовка.

Набросок.

— А тот, старый, Аркаша, — ухмыляется длинный. — Перестал существовать.

Он кашляет и говорит:

— Поздравляю.

Аркаша не слушает его. Он хочет только одного — чтобы хватило чернил. Или краски. Или спирта. Или что там внутри у фломастеров.

Андрей смотрит по сторонам.

На чашки. «Сок». «Чай».

На картину. «Место преступления».

На дверь. Прямо над ручкой — убористые буквы: «Выход».

Андрей улыбается:

— Это хорошо — видеть вещи такими, какие они есть.

Еще раз смотрит на картину:

— Ну, или такими, какими они тебе кажутся.

Он говорит, что видеть мир вне себя, мир, который снаружи — это уже кое-что.

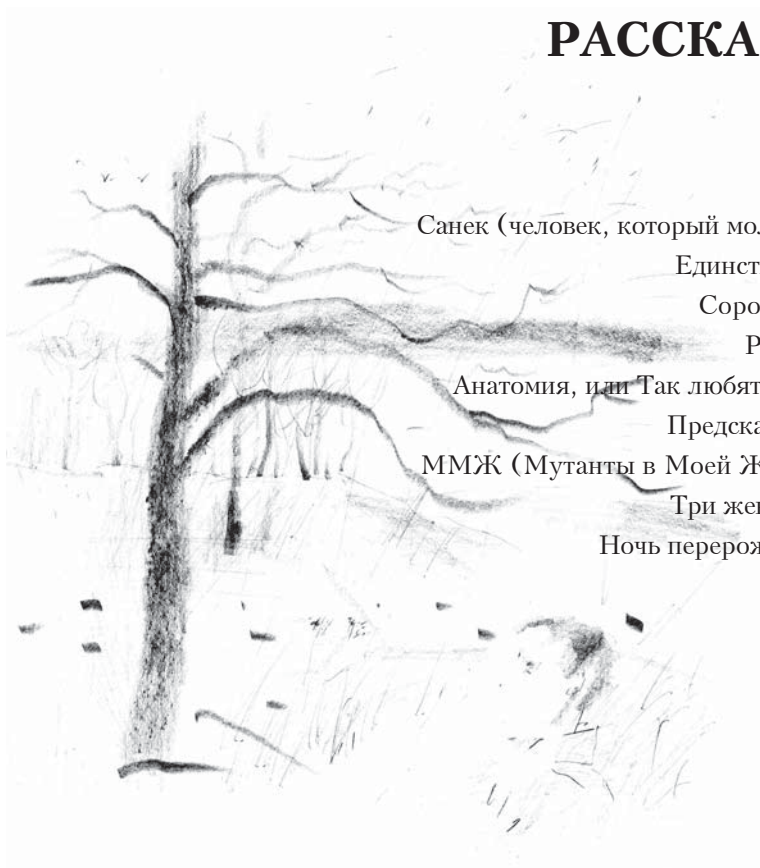
Аркаша надевает колпачок на фломастер. На стекле появилось еще одно слово.

Слово пришло ему на ум, когда он увидел вылетающую в форточку муху. Но он об этом никому не расскажет. Потому что есть вещи, о которых лучше не говорить.

Это слово:

«Свобода».

РАССКАЗЫ



Рак

Санек (человек, который молился)

Единственная

Сорок дней

Русалка

Анатомия, или Так любят поэты

Предсказатель

ММЖ (Мутанты в Моей Жизни)

Три женщины

Ночь перерождения

РАК

Ночью снилась женщина. Звала. Спрашивала о чем-то. Упрекала. Одета в черно-белое (кажется, в юбку с блузкой), то приближалась, то отдалялась. Он отвечал ей. Изнутри глодало желание в чем-то обвинить, и одновременно — страх потерять ее.

Чем закончился сон, не помнил. Помнил только, что тот случился в два захода: первый — до девяти, второй — после, когда, вырванный из черно-белой реальности, привстал с постели, выключил будильник, и, решив еще минут пять полежать с закрытыми глазами — классика жанра — разомкнул веки лишь в половине двенадцатого.

Сразу, не успев подняться, почувствовал тяжесть. Казалось, это не усталое, неотдохнувшее тело протестует, не желая втискиваться в новый день — а она, тяжесть, держит его на кровати. Давит. Как какая-нибудь сверхгравитация в фантастическом фильме.

Только тяжесть была не снаружи. Он быстро сообразил, что она внутри. Где-то на уровне солнечного сплетения.

Было ясно, что полежать еще не получится. Что пора вставать и приниматься за дела. Все-таки он провалялся минут десять, прежде чем перекатился на бок и осторожно, словно дорогую амфору, привел свое кургузое тело в вертикальное положение.

Тяжесть никуда не делась. Напротив, влекомая вниз силой притяжения, укрепилась еще прочнее. Подобно свинцовому шару, навалилась на желудок. Казалось, еще чуть-чуть — и она прорвется. Бултыхнется в желудочный сок. Раздвигая упругие стенки, устремится вниз по кишечнику. Кишечник будет похож на удава, внутри которого движется проглоченный кролик или обезьяна. А потом тяжесть вывалится наружу.

Но Вадик знал, что ничего подобного не произойдет. Что тяжесть будет сидеть внутри и давить на желудок до тех пор, пока он не поймет одну простую вещь. До тех пор, пока он не вспомнит. Пока не почувствует — что же он сделал не так?

Ну, то есть это кажется, что вещь простая. А на самом деле, если вникнуть в проблему, то сразу станет ясно, что никакая она не простая. И зачастую понять, что же ты сделал не так, еще сложнее, чем заставить себя встать утром.

Или — чем посмотреть в зеркало.

Зазвонил телефон. Вадик, издав что-то среднее между повизгиванием и побрякиванием, встал с кровати и проковылял в коридор. На ходу буркнул «доброе утро» заспанной маме.

— Я возьму, — его рука схватила трубку раньше, чем мама. Он знал, что она хочет сказать: что ему лучше полежать еще, что не надо вскакивать с постели так резко, что у него может случиться приступ, что доктора опять будут его ругать, что она могла бы взять трубку сама.

Он любил маму. Но знал — сейчас в его взгляде она прочитала: лучше — молчи.

— Алло, — его резкий, высокий голос. Еще два месяца назад он был другим.

Тишина. Особенная вакуумная тишина телефонной линии. Далекое потрескивание. Если слушать ее очень долго, начинают болеть уши.

Прислушавшись, он различил чье-то дыхание. Далеко и одновременно так близко. Он мог ошибаться, но готов был поспорить с кем и на что угодно, что на том конце провода ребенок.

Колючая, неуютная тишина. Потом — короткие гудки. Настойчивая, вязкая, как карамель, пульсация. Вадик положил трубку.

Как он ни старался, а игнорировать висящее над тумбочкой с телефоном зеркало не получилось. Взгляд сам собой скользнул по шрамам: первый — рассекающий лицо наискось, от левого виска до правого уголка рта; второй — алым червем извивающийся поперек горла.

Если задрать футболку, можно увидеть еще один. Вертикальный, тянущийся от солнечного сплетения до пупка. Только этот, третий — искусственного происхождения. Не шрам — шов.

В душе, втирая шампунь в жесткие, похожие на ворс со старой щетки, волосы, размышлял. Изю всех сил напрягал память. Остервенело тер мочалкой наплывы жира на груди (вот он, второй размерто), на животе, осторожно касаясь шва, испытывая абсурдный страх, что тот разоидется.

За столом ковырял ложкой пшенку, отрешенно уставившись в стену, глядя сквозь нее.

Голос матери:

— Вадик, ты уплываешь куда-то.

Выстрел. Звонкое «Щелк!» — в голове.

Плавать. Вот оно!

Сегодня он собирался поплавать.

Тяжесть пропала. Теперь на желудок ничто не давило, и он в несколько ложек приговорил кашу. С аппетитом, шумно втягивая ноздрями воздух. Залил ее сладким, чуть теплым чаем. Закинул сверху аккуратный бутербродик.

У себя в комнате так торопился, что, надевая плавки, запутался в собственных ногах и грохнулся на кровать. Заставив стонать натруженные пружины, а мать — спросить из коридора:

— У тебя все в порядке?

— Да, мама, — ответил он. И про себя добавил: «Теперь — да».

День был солнечным, но в воздухе уже ощущалась прохлада августа. От этой прохлады, от косых лучей, посылающих порции ненавязчивого тепла, от предчувствия осени начинало сладко нить под ложечкой. Руки покрылись слоем мурашек. Но Вадик знал: минут пять ходьбы — и он согреется, а к тому моменту, как дойдет до Волги, по шее покатятся капельки пота. Так и случилось.

Волгу штормило. Конечно, не так, как штормит море (Вадик был на Черном море, видел шторм и мог об этом судить). Да, собственно, и по речным меркам штормом это назвать было сложно.

Волны одна за другой накатывали на покрытые водорослями ступени, взметая к небу столбы брызг. Это зрелище, усиленное незаметным в городе, но ощутимым здесь всем телом ветром, наводило на мысли о штормах, бурях и прочих неудобных, но жутко романтических вещах.

Он пошел вдоль ступеней. Вообще-то, еще год назад эти ступени находились под водой, в нескольких метрах от берега. А теперь вода начиналась непосредственно за ними. Поговаривали, что это связано с работой шлюзов на местной ГЭС.

Не спеша, внутренне съеживаясь, когда волны были особенно сильными, Вадик дошел до конца парапета. Здесь берег устилала покрытые высохшим илом и водорослями камни. Между камнями прыгали чайки и вороны, выскивающие выброшенную на берег рыбу.

Рака он заметил сразу. Маленький зеленый комочек, он выделялся на сером фоне. Устремившаяся в его сторону галка, недовольно крича, отпрыгнула. Вадик присел на корточки. Аккуратно, держа двумя пальцами за бока, поднял рака — скорее, рачонка — до уровня глаз.

Рак пошевелил лапками. Лениво — нет, скорее, устало. Жизнь явно покидала его, и он, судя по всему, уже не имел ничего против. Скорее всего, вначале он пытался спастись. Упрямо карабкался через камни. Точнее, пытался карабкаться. Камни были слишком крупными для него. Вряд ли он прополз далеко.

Вадик осторожно переложил рачонка в другую ладонь. Тот пытался сопротивляться. Забыв, что не в воде, захлопал хвостом, стремясь скрыться от этого великана. От этого титана, несущего его неведомо куда — наверняка, на смерть. Наверняка, это чудовище хочет съесть его. Разумеется, ни о чем таком рак не думал.

Вадик быстро зашагал по камням, иногда спотыкаясь, но не сбавляя скорость. Даже выскочивший откуда-то сбоку и поднявший

заливистый лай спаниель не заставил его убавить шаг. Цель Вадика маячила впереди, метрах в двухстах.

Рак с каждой минутой становился все слабее. Вадик чувствовал, как лучики жизни покидают маленькое тельце. Как маленькое рачье сердце бьется все слабее. Впрочем, он не знал, есть ли у раков сердце.

Под ногами зашуршал, заскрипел песок. Иногда порывы ветра создавали песчаные вихри. В такие моменты Вадик щурился, но песчинки все равно попадали в глаза.

Вадик шагал все быстрее и быстрее, пока, наконец, не достиг небольшого заливчика. Слева и справа шуршали сухие камыши.

Вадик скинул шлепанцы и зашел в воду по колено. Медленно, словно дорогую, хрупкую ношу, опустил рачонка в воду.

Какое-то время рачонок лежал не шевелясь. Потом, наконец, ожил. Одурел от неожиданной свободы. Заработал хвостом, удаляясь все дальше и дальше. Пока, наконец, совсем не исчез в мутной воде.

Вадик вышел на берег. Присел на корявый, давным-давно выброшенный течением на берег, ствол. Достал из кармана склянку. Там, внутри, была синильная кислота. Он сидел со склянкой в руке. Смотрел на свое отражение в зеленоватой воде. По поверхности плавали кусочки коры и листья.

Он смотрел на свое уродливое лицо, пытаясь вспомнить, каким оно было до аварии. Он пытался — и не мог. Врачи говорили, что от удара у него повредился тот участок коры головного мозга, который отвечает за память. Говорили, что некоторые воспоминания со временем вернутся, а некоторые исчезли навсегда.

Прекратив попытки вспомнить, он откупорил склянку. Медленно, очень медленно вылил ее содержимое в песок. Размахнулся и запустил склянку на середину заливчика. Встал и зашагал. С каждой секундой его шаг ускорялся. Губы зашевелились. На рассеченном шрамом лице появилась улыбка.

Через десять минут юноша шагал и полунапевал-полунашептывал: «Однажды лебедь, рак, да щука...»

Он помнил только эту строчку. Но других было и не надо.

«Однажды лебедь, рак да щука...»

САНЕК

Вначале их было двое. Санек и Колян, мой тезка. Колян отсеялся быстро. А Санек пережил меня. Не знаю, может, он и сейчас там. Стоит в своей светло-зеленой фуфайке, продуваемый кусачими волжскими ветрами...

Для того чтобы счистить ракушки, нужно было вначале забраться на самый верх решетки. Или шандоры. Шандора. Не знаю, верный это термин или нет. Так называл решетки мастер. Вован. Вован отсидел шесть лет. Кажется, за кражу. После тюрьмы получил профессию газорезчика. Потом пошел на повышение. Перед тем, как начинать чистить решетку, надо было вынуть ее из ячейки. А для этого необходимо было вызвать кран.

В сильный ветер краны не работали. Иногда мы по несколько дней ждали кран. Убирали мусор с площадки. Пили в вагончике чай из термосов. Спали по очереди. Вован и газорезчик Димарик переговаривались о своих делах. Они были ребятами из Шлюзового. Шлюзовой был аномальной зоной. Территорией безвременья. Для его жителей девяностые не закончились.

Вован шепеляво, с присвистом спрашивал:

— Ну что вы, Бона еще не поймали?

Вован говорил:

— Он мне никогда не нравился, этот Бон.

Димарик отвечал:

— Нет. Прячется, как судак мороженный.

И добавлял:

— Стольких пацанов подставил, сука.

В его голосе чувствовалась такая обида за пацанов. Такая злоба. Я не завидовал Бону, кем бы он ни был. Иногда я брал что-нибудь почитать. Как-то раз Вован поинтересовался:

— Про что читаешь, Колек?

Я отложил «Парфюмера». Покумекав немного, сказал:

— Про маньяка.

Рядом сидел Димарик и штопал сеть для «косынки». Перед решетками скапливалось много рыбы. У каждого работника ГЭС, включая охранников, была своя закидушка. «Косынка». «Паук». Некоторые ловили на блесну. Говорили, что у одной турбины есть место, где скапливаются сомы. Некоторые — по тридцать кило. Говорили, что их достают баграми. Еще рассказывали, что

где-то глубоко-глубоко под ГЭС есть место, где собираются сомы совсем уж гигантских размеров. Что водолазы боятся туда спускаться. Что, когда там надо было срочно что-то починить, все водолазы отказались, и тогда тому, кто согласится, пообещали машину.

Димарик, не прекращая штопать косынку, гыгькнул:

— У меня такая жизнь, Колек, не поверишь — сплошные маньяки кругом.

Вован заржал. Мы с Саньком ухмыльнулись.

Решетки стояли прямо перед турбинами. Они задерживали бревна, ветки и крупный мусор. Чтобы все это не набилось в лопасти. Каждая решетка весила что-то около тридцати или сорока тонн. Уродливая комбинация из швеллеров, реек, уголков и труб. Не удивлюсь, если изначально они предназначались для чего-то другого. Или вообще ни для чего не предназначались.

Когда решетки доставали из воды, кто-нибудь забирался наверх с лопатой. И начинал чистить ракушки. Другой чистил сбоку. Потом тот, что сверху, спускался и помогал напарнику.

В принципе, Колян и Санек были нам не нужны. Но сроки поджимали. Поэтому начальство подогнало их.

Мой тезка — дородный мужик с крупными, почти казацкими усами, проработал два дня. В течение этих двух дней он стоял с доской, которая, как он считал, подходила для чистки ракушек. Стоял и говорил:

— Вы тут мартышкиным трудом занимаетесь.

Словно мы были тупые, пояснял:

— Бесплезную работу делаете.

Меня он бесил. Но я терпел.

Когда ему дали резак, он повозился с ним минут десять и вернулся Димарику. Сказал, словно втолковывая неразумным детям:

— Я давно уже с резаком не работал.

Вован с Димариком его терпеть не стали. Вован что-то нашептал менеджеру Максусу, и на следующий день тезку уволили.

Санька они тоже невзлюбили. Но Санек держался. У Санька была жидкая холодная кровь. Жидкая, как разбавленный сок, и холодная, как вода внизу.

А может, все дело в том, что он был подкаблучником. Не знаю.

Саньку было пятьдесят три. У него тоже были усы. Только куцые. Какие-то унылые. Он все время сутулился. Низко опускал голову. Когда он пил чай, то очень шумно глотал. Вода как-то неправильно клокотала у него в горле. Это было похоже не на глоток. Скорее — на работу старого, испорченного насоса.

Несколько лет он проработал пожарным. Он часто рассказывал об этом. Кажется, ему нравилась та работа. Я спрашивал:

— А чего же ты ушел?

Отхлебнув еще чая и опустив голову еще ниже, он говорил:

— Баба уломала. Сказала, перспектив нет.

И добавлял:

— Потом я ее бросил.

Он говорил это с гордостью.

Он часто переспрашивал. Я старался не обращать внимания. Говорил себе, что он старый. Оправдывал его тем, что одно ухо у него почти не слышит. Но все равно злился. И злился за это на себя. Говорил себе: «Ты не любишь людей». Чрезмерная саморефлексия. Так уж я устроен.

Иногда снаружи налетали порывы ветра. Старые стекла вагончика дрожали. Тогда Санек крепче сжимал чашку и смотрел на стену. То есть на самом деле он смотрел не на стену, а куда-то сквозь нее. Глядеть на это со стороны было жутковато. Словно рядом со мной в вагончике сидело странное, чужое существо.

По возрасту Санек был самым старшим. Иногда он пытался чему-то нас учить. Тому, что мы знали и без него. А он не успокаивался и повторял по несколько раз. Повторял до тех пор, пока Вован или Димарик не посылали его.

Вован или Димарик. Когда мы сидели в вагончике, кто-нибудь из них говорил:

— Саша, ты чего — самый умный?

— Ты, может, профессор, а? — спрашивал кто-нибудь из них.

Саша прихлебывал из термоса и отвечал:

— Да нет. Ты че. Дурак я, — он почти вышептывал из себя эти слова. Слова были тихими, как шелест листьев.

Красное солнце пряталось за горы. За краны.

Димарик спрашивал:

— Санек, а сейчас баба у тебя есть?

Ветер гремел стеклами.

Санек выдавливал глухое:

— Оооо.

Димарик и Вован переглядывались.

— «Ооооо!» — передразнивали они его. — «Оооо!» Да ты у нас бабник, Саня!

Я вдыхал пыль вагончика. Ежился от холода.

Они так и не выжили его. Он оказался крепким орешком. Крепче, чем я.

Он не сломался, хотя они старались. Пару раз даже угрожали набить морду.

Санька не уволили даже после того, как менеджер Макс поймал его с «косынкой». За неделю до этого на ГЭСе была проверка. Всех рыбаков прижали к стенке. Кого-то оштрафовали. Большинство отделались выговором. Ежу понятно, что через месяц они все принялись бы за старое. Но сейчас надо было переждать. А Санек на следующий день притащил из дома косынку. «Мудак», — решили все.

Когда менеджер Макс увидел, как Санек достает косынку из воды, тот успел поймать двух бершей и одного судака. Макс отmaterил Саньку. Затем то же самое сделал Вован. Санек молча свернул косынку и отнес домой. Все думали, после этого он уволится. Постоянные придирки. Угрозы. Теперь еще этот выговор. Но Санек просто унес косынку и продолжил работать. Пил чай и пялился сквозь стенку.

И тогда Вован с Димариком сдались. А мне было по барабану, останется он или нет. Я тогда расстался с девушкой и постоянно думал, что же сделал не так.

Наверное, винил себя.

Мы все вместе сидели в вагончике и слушали, как ноет ветер.

В обед меня, как самого молодого, отправляли за питьевой водой. Я не возражал. Мне это нравилось — хотя бы минут на пятнадцать-двадцать отлучиться от ГЭС. Уйти от кранов. От решеток и ракушек.

Я показывал армянину-охраннику пропуск, переходил трассу, по которой в обе стороны неслись ревущие фуры и спускался вниз. Там, рядом с волноломом, из-под земли вырывался артезианский источник. Вода отдавала ржавчиной.

У источника это и произошло.

Я присел на корточки. Опустил пятилитровую баклажку в ледяной поток. И услышал плач.

Ветер доносил из-за волнолома обрывки рыданий. Они смешивались с шелестом волн и криками чаек.

С наполненной до краев баклажкой я обошел волнолом. Подойдя ближе, различил сквозь всхлипывания слова. Не сразу сообразил, что это молитва.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий...»

Санек стоял на коленях, почти упершись лбом в волнолом. Колени его вонзались в холодный сырой песок.

«Спаси и помилуй мя, грешного...»

Иногда какая-нибудь волна забежала дальше остальных и окатывала ноги Санька.

Санек не видел меня. А я стоял и не мог оторвать от него взгляда. Было во всем этом что-то надрывное и одновременно противостественное. Что-то, что я не могу объяснить словами.

А потом я увидел слезы.

То есть, вначале показалось, что его руки испачканы чем-то красным. Может, порезался. Или порезали. В этих местах может быть очень опасно.

Приглядевшись, рассмотрел, что кровь текла из глаз.

Потом он увидел меня. И закричал:

— Аааааа!

Он кричал:

— Ооооо!

Кричал:

— Неее наааадо!

Вода начала прибывать. Вот он уже стоит по колено в серых волнах. Белые барашки дотягиваются до полов светло-зеленой протертой фуфайки.

Он смотрел на меня и раскачивался, как маятник. Или, скорее, как метроном. Чайки носились у него над головой и одна, самая смелая, клюнула его в лицо. А он даже не попытался защититься. Только дернулся. Как от выстрела.

Кажется, я спросил его. Что-то вроде: «Санек, что случилось?» Кажется. Потому что я плохо помню то, что было у волнореза. Все словно в тумане. В памяти мерцают несколько картин, хаотично разбросанные, как капли фосфоресцирующей краски.

Смутно помню, как добрался до вагончика. Как переходил опасную дорогу с чудовищами-грузовиками, по обочинам которой валялись трупы животных. Как показывал пропуск охраннику.

Когда я вернулся, Санек был там. На месте. Чистил ракушки.

Я сказал, что приболел, и весь день провалялся в вагончике. Когда все пришли на обед, притворился, что сплю. Я боялся посмотреть на Санька.

На следующий день я не вышел на работу. Плевать. Уход с работы — хороший повод отправиться в небольшой запой. Всегда любил октябрьские запои. Они тоскливы, но в них столько щемящего душу томления. Они приближают тебя к суициду, но быть трезвым в октябре — еще тяжелее. Особенно если ты расстался с девушкой. И чувствуешь за собой вину.

Просыпаясь в сумерках. Ежась от холода. Проводя ревизию в карманах на предмет оставшихся лавешек. Бредя до комка. Похме-

ляясь и, приободрясь, бормоча: «Ничего, выкарабкаюсь». Я иногда задаю себе два вопроса.

Первый: кого я видел у волнореза? Но ответ на этот вопрос интересует меня не так чтобы сильно. Может, это был человек, похожий на Санька. Или какая-то галлюцинация. Молящаяся галлюцинация. Проекция. «Есть многое на свете, друг Горацио». Куда сильнее меня волнует второй вопрос. Почему он закричал, увидев меня?

ЕДИНСТВЕННАЯ

Когда Димарик, вечно «летающий» и не склонный к рефлексии друг мой, подарил на день рождения эту штуку, я долгое время тупо рассматривал ее. Держал прямоугольную коробку (без рисунков, с техническими характеристиками). Ощупывал взглядом картонную поверхность, не в силах понять — что же передо мной такое.

Губы, кажется, выталкивали что-то вроде «спасибо». Кривились в улыбке. Я хотел спросить у Димарика — дружище, что это? — но его лицо переполняла такая удовлетворенность, оно было таким счастливым, это лицо, и я решил удержаться от вопросов. Такие, как он, всегда уверены, что любой их подарок — самый лучший на свете. Даже если это не так.

Я положил коробку на тумбочку, рядом с мамиными губнушками-духами-туалетными водами. И мы пошли ко мне в комнату. Бухать. Следующие несколько часов прошли банально, серо, обыденно. Водка. Обсуждение последних новостей. Поздравления. Снова водка. Разговоры о музыке. Чуть-чуть — о книгах (чуть-чуть — потому что за всю жизнь Димарик прочитал только Глуховского, Лукьяненко и — удивительно! — Данте).

Разошлись часа в три ночи. Сознание мое благодаря сочетанию «алкоголь-музыка-общение-февраль» вышло на частоту других измерений. Разум пребывал в иных мирах. Контактывал с нематериальными сущностями, чье имя непроизносимо, а облик аморфен и многообразен.

Пребывая в таком состоянии, я решил знакомство с содержимым коробки отложить до завтрашнего. Чтобы, если внутри вдруг окажется нечто хрупкое, не оскорбить эту хрупкость прикосновением к чему-нибудь твердому. К углу дивана, например. Или к банальному полу. А такое было очень вероятно. Ведь странствующая по запредельному душа пребывает, сама того не желая, в разладе с неуклюжим, спотыкающимся, все — в том числе, и себя — роняющим телом.

Первая половина следующего дня прошла в бесчисленных чередованиях сна с явью, на смену которой опять приходил сон. Я тонул в мутном пруду отходняка, посталкогольные образы достигли пика материальности и в яркости своей делали неотличимой объективную реальность, данную нам в ощущениях, от царства Морфея.

Наконец, часа в четыре, приведя-таки свое тело в горизонтальное положение, отмыв личность свою шампунем и едким мылом, я принялся за коробку.

Сверху лежала бумажка. В глаза бросились фразы:

«Габаритные размеры, мм: 119-56-72.»

Я моргал и читал дальше:

«Фокусировка: от 25 см до бесконечности».

Я тянулся одной рукой к спасительной стопке, а второй дрожащими кончиками пальцев сжимал бланк с техническими параметрами. Проглотил почти неощутимую горечь, швырнул в рот сухой колющий хлеб. И вернулся к бумажке.

«Время непрерывной работы: 60 часов, минимум».

И еще:

«Усиление яркости: 25 000 — 45 000».

И потом:

«Диоптрийная настройка, дптр: +2; -4.

Наконец, усиленное похмельным вливанием, зрение мое сфокусировалось нужным образом — то есть в левом верхнем углу страницы. Там, где жирными буквами было напечатано: «Walard 5034». А ниже: «Бинокль со встроенным прибором ночного видения».

Вот так этот стальной кургузый гость футуристично-киберпанкового вида поселился в моей комнате и прочно обосновался на письменном столе, где, впрочем, пребывал недолго, стискаемый в основном моими ладонями — крупными, но не грубыми, как любил подтрунивать Димарик, «не шахтерского вида».

Сам того не ведая, мой самовлюбленный товарищ провел жирную маркерную черту, разведя, оттолкнув друг от друга, как разноименные полюса, два временных отрезка. Два периода моей жизни. Тяжеловесные, не уступающие по длительности каким-нибудь девонам или триасам, они войдут в историю. В мою личную историю. В мою летопись.

Первый — жизнь до прибора. То есть до еженощных бдений. До того, как я увидел Ее.

Второй — жизнь с прибором. С моими новыми друзьями. С их уютными мирками. Жизнь, в которой появилась Она.

Спасибо тебе, Димарик!

Не устаю повторять это снова и снова, ибо только благодаря тебе существование мое обрело смысл. Ибо если б не ты, если б не этот диковинный прибор — совокупность линз и электроники — то я так и провел бы жизнь свою в одиночестве. Не увидев Ее. Не почувствовав влечение. Не поняв впервые, что расстояние — пыль, примитив, ничто, прах. Что если сердце влюблено, то тот, в чьей

груди оно бьется, способен на вещи немыслимые. Вещи, на которые «нормальный» человек ни за что бы не отважился.

Итак, я стал фанатиком. Я стал ночным охотником, наблюдателем.

Я стал живописцем. Режиссером одного бесконечного фильма. Главным редактором вневременной онлайн-трансляции.

Я стал всем.

Вооружившись прибором, я — поначалу неуверенно, затем все смелее, все нахрапистее — принялся вторгаться в чужую жизнь.

Впрочем — что значит «в чужую»? Все эти жизни — обеды на кухнях, постельные сцены, ссоры с битьем посуды, работы над домашними заданиями, приготовления ужинов, утренние гимнастики — все они соединились с моей жизнью. Нет — они стали моей жизнью! Влились в меня, в мою карму, в мою ауру, как вливается питательный раствор в вены коматозника.

Любой фрагмент, любой отрывок, любой жест — все, что не удалось скрыть мерзким, бездушным шторам — я запоминал, как запоминает шпион попавшийся на глаза кусочек секретного документа. Со временем я научился даже додумывать, дорисовывать в воображении запахи и звуки.

Разъяренная, засаленная, загнанная временем в ловушку собственного тела мегера швыряет салатницу на пол. Я слышу высокий звук. Звоном его назвать трудно. Потому что пол в кухне, где происходит ссора, линолеумный. А линолеум гасит звуки — не сильно, но ощутимо.

Два подростка застыли на диване — неподвижные, подобно насекомым во время спаривания. Подростки-богомолы. Подростки-пилильщики. Подростки-жужелицы. Она раздвинула ноги, а он старательно, с трепетом, на который способны только юнцы, вылизывает ее. Если покрутить колесико, приблизив изображение, то может показаться, что у него прямо под носом — пушистый кустик усов. Вместе с ним я ощущаю запах влагаллица — запах простокваши. Так часто пахнет на уличных рынках.

Их жизни протекали передо мной, сквозь меня, стремительно, не задерживаясь, как пробегает ток по отрезку провода.

Что произошло бы со мной дальше, останься все как есть? Жил бы я так и впредь — проводя бесконечные тягучие часы, опустив задницу в кресло, закинув ноги на батарею, уперевшись локтями в подлокотники, прижавшись глазницами к окулярам? Или ночные бдения со временем потускнели бы, потеряли свою упругость и яс-

ность — перестали бы дарить чувство причастности к чему-то всеобъемлющему, космическому, глобальному?

Я не могу об этом знать. Потому что в моей жизни появилась Она — и теперь пути к отступлению были отрезаны. Москва была далеко-далеко позади. Воды Рубикона плескались за спиной.

Когда я впервые увидел Ее? Это было, кажется, на третий день моей новой жизни. Я говорю — «кажется»? О, ужас! О, проклятие тишины на мою голову! Я встаю на колени и молюсь. Молюсь, истекая крупными, как дольки чеснока, слезами.

«Прости, королева моя! Прости, что не помню, когда впервые ты промелькнула, когда твоя чуткая, растительная томность в первый раз обволокла мое сердце — чтобы уже никогда не отпускать его, чтобы безраздельно владеть этой маленькой, слаборазвитой мышцей. Прости и повергни в ариманскую темень, если я этого заслужил!»

Когда я впервые увидел Ее, она была на кухне. Никогда, никогда, никогда — слышите? — за всю свою бессмысленную, слепую жизнь я не видел, чтобы кто-нибудь принимал пищу и при этом выглядел бы так утонченно, отрешенно.

Так божественно.

Она сидела, вся белая, как ангел — небесное существо, вынужденное коснуться почвы, этой потрескавшейся поверхности, этих находящихся друг на друга слоев, каждый из которых — лишь результат вековых процессов гниения и разложения. Бесконечные чередования торфяников, песчаников, заполненных водой пустот — чего там еще? Каких-нибудь нефтяников, слюдяников, железняков.

Вот так и она коснулась меня, моей души — как нога серафима легко касается земли, в которой ничего романтического нет. Земли, которая сплошь — лишь следствие чередования унылых химических процессов.

Она кушала, а я мучился, что не могу оказаться рядом. Что жестокие законы мироздания мешают перенестись в дом напротив, упасть перед ней на колени и, не смея взглянуть в глаза, смиренно просить об одном: позволить мне самому брать эту пищу — и класть в ее нежный, розовый рот.

Теперь другие окна перестали для меня существовать. Другие жизни перестали иметь ценность. По привычке, гася вечером свет в комнате, я нажимал на «ON» и мельком пробегал по знакомым прямоугольникам. Раньше эти окна были для меня самостоятельными единицами, самостоятельными сюжетами. Теперь они превратились лишь в окна слева, справа, снизу и сверху от ЕЕ ОКНА. Я уделял

им все меньше и меньше внимания, пока не перестал совсем. Одинокие, брошенные, они тревожно мерцали в ноябрьском холоде, с укором и — как мне порой казалось — ненавистью наблюдая за мной. Порой казалось, что, подобные обманутым девушкам из какого-нибудь второсортного триллера, они, окна, объединились и готовятся отомстить своему бывшему. Мне. Сердце в такие моменты сжималось от давящего предчувствия. Но я был одержим, я был счастлив — и тяжелые мысли развеивались, едва я наводил прибор на Ее окно.

Вот Она проходит из зала с качественной, скорее всего, дубовой, мебелью, в детскую. Детская пуста и наводит на грустные мысли.

Занимал ли раньше кто-то эту комнату? Если и так, то я об этом никогда не узнаю. Я вижу, как она разглядывает сваленные в углу книжки-раскладушки. Откроешь такую — и тебе явится двухмерный, вырезанный чьей-то равнодушной рукой, котенок. Или Чипolino. Или Карабас-Барабас. И затянет короткую однообразную мелодию.

Она долго стоит посреди комнаты. Невозможно красивая. Светлая. Кажется, что в полутьме от нее исходит бледное, еле уловимое сияние, мягко ложится на стены, преломляясь в линзах прибора, попадает мне на сетчатку. На хрусталик. И я дрожу. Я плачу. Удерживать эту дрожь и слезы я не в силах. Нет. Легче кинуться вниз головой — в темноту, в вой холодных волжских ветров, и нестись к черному асфальту. И, пусть меня влечет вниз суровая и непреклонная сила притяжения, я отклонюсь — хоть на пару метров, за счет той силы, с которой оттолкнусь от подоконника — в сторону Ее окна. Сама возможность оказаться пусть ненадолго, но ближе к ней — она стоит смерти. Стоит всей этой постылой жизни. Монотонной, одноцветной работы. Бесчисленных ужинов на кухне, когда напротив маячит усталая мать, а тишину нарушает лишь лязганье вилок по сковородке.

Я дрожу всем телом и сглазываю слону, а Она покидает детскую. Через секунду Ее силуэт мелькает перед дверью в ванную. Исчезает внутри. Мне не надо закрывать глаза, чтобы почувствовать запах шампуня. Запах двухсот тысяч сортов мыла. Бесчисленных масел для кожи. Увлажняющего молочка.

Легкие роскошные запахи кружат голову.

Как я мог жить все эти годы — и не видеть, не чувствовать, что она всегда была рядом? Как я мог довольствоваться отношениями со всеми этими дешевыми, визжащими самками, не понимая, что единственная, в ком я нуждался — она?

Минуты, часы, годы унылой цепочкой тянутся передо мною. Мои отношения с противоположным полом, любви мои сменяют одна другую, как картинки в слайд-шоу. Бесмысленные. Скучные. Какие-то неуклюже-несуразные.

Она выходит из ванной, прихорашиваясь на ходу. Аккуратной, легкой поступью проходит в зал.

Есть ли у нее возлюбленный?

За все время я ни разу не видел мужчины в ее доме.

Приходит лишь та, которую я называю сожительницей. Худая. Нервная.

Их отношения не назовешь любовью. Нет. Даже с натяжкой. Что-то вроде симпатии — пожалуй. Но не более того.

Худаянервная стягивает свой брючный костюм и, не приветствуя Ее — скотина! — направляется в ванную. Почти через час появляется снова. Распаренная. Довольная. Но по-прежнему напряженная.

Все время, пока Худаянервная находилась в ванной, моя любовь лежала в зале. На диване. У нее обреченный вид. Она смотрит в окно. Она словно ждет часа, когда ей придется выполнить опостылевшую повинность.

Худаянервная небрежно, условно закутавшись в халат, направляется в кухню. Замирает. Кидается в коридор. Через секунду появляется с телефоном в руках. Разглядеть телефон трудно, но уверен, что он очень стильный. Деловой. Ничего лишнего. То же самое можно сказать и про рингтон. Не могу его слышать, но воображение упорно рисует холодно-стандартное «дзииинь». Никаких полифоний, никаких фрагментов из песен. Никаких суперхитов. Никаких милых сердцу детских мелодий. Сухой, официальный, деловой звонок. Услышав такой рингтон и увидев этот телефон, вы поймете, что его хозяин — человек, не склонный к сентиментам. Нет, его хозяин — человек, думающий о работе. О работе. О работе.

Худаянервная говорит с кем-то, и я вижу, как искажается то, что у этого манекена выполняет функцию лица.

Наверное, ей сообщили о сорванной сделке. Очень важной сделке. Уверен, только такая информация способна вывести ее из себя.

Худаянервная кладет трубку. Исчезает из кухни. Появляется в зале. Садится на краешек дивана.

Синий чулок.

Серый кардинал в банном халате.

Сука-босс из «Дьявол носит «Прада»».

Моя возлюбленная бросает на нее взгляд — и снова переводит его на окно. И тут...

Не говорите мне ничего, плебеи! Не смейте, слышите? Ибо я знаю, что вижу. И уверен в том, что зрение мое, усиленное десятикратно прибором, не врет.

Между нами — если не брать в расчет высоту ее этажа и высоту моего, если отвлечься от всех этих холодных, равнодушно-вертикальных стен, от завывающего ветра и лохматых облаков во тьме; если смотреть по прямой (точнее, по диагонали, потому что ее квартира в доме напротив чуть ниже) — в общей сложности метров тридцать — тридцать пять. И через это расстояние несется ко мне Ее взгляд. Призывный. Молящий о помощи.

Я до боли, до синевы в суставах стискиваю прибор. Я впиваюсь взглядом в Ее лицо и чувствую — нет, слышу! — как из приоткрытого рта доносится призыв: «Помоги!»

Полупьяный, с то холодеющей, то вскипающей кровью в хрупких венах, я смотрю, как Худаянервная тянет руку к моей возлюбленной. Как поглаживает шею. Ее шею!

В тот момент, когда рука Худойнервной спускается к паху, Она резким движением бросается с дивана. Исчезает в коридоре. Сколько отворачивания сквозит в каждом Ее движении!

Худаянервная кидается следом.

Я принимаю решение.

Знаете ли вы, что значили для меня эти тяжкие минуты, вязкой патокой протянувшиеся между моей и Ее квартирой? Что я почувствовал, сколько жизней успел пережить, пока несея к лифту, пока чавкал ботинками по осенней грязи?

Пока ждал, когда запищит домофон на двери в Ее подъезд, и кто-нибудь выйдет, освобождая мне путь до Ее этажа. До Ее двери.

Откуда, спросите вы, я узнал, где Ее дверь?

Жалкие, это должно волновать вас в последнюю очередь! Как и любой фанатик-влюбленный, я в первый же, в тот самый день, когда увидел Ее на кухне, высчитал Ее этаж и номер квартиры! Все думал позвонить, зайти — но не мог набраться храбрости. Видимо, для того, чтобы я принял решение, необходима была эта вот угроза Ее здоровью — а может, и жизни.

Почему вас волнуют такие мелочи? Почему вы курите, пускаете дым мне в лицо и спрашиваете о вещах, которые не имеют решительно никакого значения?

Почему вас интересует, сколько раз я позвонил в дверь — пока Худаянервная не открыла мне.

Вы, выродки, лучше поинтересуйтесь, что я чувствовал, когда стоял и слушал Ее крик — искаженный болью, высокий, хрипловатый — из-за закрытой двери.

Почему вас так интересует, сколько раз я бил Худуюнервную ножом? Тем самым, который запасливо прихватил из дома — обернув газетой, чтобы не порезаться: я ужасно восприимчив к виду крови.

Как вам понять, казенные ищейки, какую радость я ощутил, вбегав в дом — и увидев Ее. Униженную. Усталую. Но живую.

Как заставить вас пережить тот момент, когда я впервые опустился перед ней — теперь уже не отделяемой от меня кубометрами холодного воздуха, не искаженной зеленой призмой прибора.

Как попытаться передать вам, пусть во сто крат слабее — какая дрожь пробежала по рукам, когда я впервые взял в них мою королеву. Мою богиню. Серафима моего. Когда пальцы впервые пробежали по белоснежной ее шерстке.

Не могу и не смогу передать вам, какие ужас и пустоту я ощутил, когда вы, вызванные кем-то из соседей, перехватили меня с Ней на руках. На полпути к магазину. Какое щемящее одиночество я ощутил тогда — и ощущаю сейчас, и, видимо, буду ощущать теперь уж вечно — когда вы вырвали Ее из моих рук.

Но, вместо того, чтобы поинтересоваться, что я чувствую сейчас, вы спрашиваете совсем о другом. Что ж, я отвечаю.

Вас интересует — с какой целью я направился из квартиры, в которой выпускала дух Худаянервная, в ближайший круглосуточный магазин, с Ней на руках, оглашающей округу жалобными криками, на которые из подвалов выбежало несколько ободранных котов?

Отвечаю: смешные вы, я всего лишь хотел купить молока своей возлюбленной.

СОРОК ДНЕЙ

Я не ждал ее. Не мечтал о ней по ночам и не посвящал ей стихов. Блуждая по темным дождливым улицам, я иногда заглядывал в глаза незнакомок — но никогда не пытался увидеть в них хоть что-то, похожее на ее взгляд.

Если уж на то пошло, то мне всегда нравились брюнетки, причем с нормальными женскими формами — пышными в пределах разумного. Я никогда не обратил бы внимания на девушку, подобную ей, просматривая ночной канал.

Она нашла меня сама. Я был ей нужен.

Никаких знаков судьбы. Ничего такого, что можно было бы назвать роком или предназначением. Просто однажды я проснулся в незнакомой квартире, в том самом состоянии, когда после бурной ночи ты, еще не открыв глаза, понимаешь, что тебя по-прежнему кроет.

Глаза, значит, я открываю. Залепленные похуже на гной слизью веки пытаются сопротивляться, но в итоге таки поддаются.

Моргаю.

Еще раз.

И еще.

Все вокруг размыто — то ли из-за слизи, то ли из-за алкоголя.

Тру глаза.

Кое-что начинает прорисовываться.

Метрах в двух напротив — сервант, совковый такой, с тарелками-салатницами-стопками внутри. Одной стеклянной створки не хватает.

Справа окно. Перед ним — тумбочка с включенным телевизором, в котором немой Дима Билан пытается убедить кого-то (судя по всему, меня) в том, что невозможное возможно. Получается у него слабо. Тем более при выключенном звуке.

На полу, аккуратно между мной и сервантом, лежит тело. Синие джинсы и черная рубашка с коротким рукавом выдают в нем принадлежность к семейству homo sapiens. Ну то есть homo — вот оно, а sapiens куда-то отошел. И вернется, судя по всему, не скоро.

Еще одно усилие воли, и я — алле оп! — уже сижу на диване. Автопилот меня, как всегда, не подвел, иначе лежал бы сейчас рядом с «человеком разумным». Впрочем, вполне возможно, у него перед самым «отъездом» тоже работал автопилот. Просто диван малень-

кий, а нас двое. Естественный отбор. Выживает сильнейший. Мне, правда, на то обстоятельство, что я в данном случае оказался сильнее, наплевать. Если не сказать жестче, то есть «насрать».

Откуда-то (судя по всему, из кухни) доносится хриплый женский смех. К нему присоединяется мужской — высокий, с истерическими нотками.

Два смеха — как две сольные партии. Перекрещиваются, расходятся. Одна гармонично дополняет другую. Аранжировкой звучат приглушенные голоса и звон рюмок.

Я иду на музыку.

Какая это радость — идти вот так с утра, когда тебя еще кроет, на голоса из кухни! Голоса из кухни означают, что ты не один, что где-то есть люди, и что ты скоро присоединишься к ним, и вы вместе будете сидеть и говорить. Говорить ни о чем. А еще эти голоса означают, что холодное утро за окном тебе не страшно. Что не надо будить дрыхнувшего хозяина или хозяйку, и выталкивать себя в морозную темень. Вместо этого есть возможность провести хоть какое-то время в тепле.

Шаг.

Еще шаг.

И еще один.

Переступая через чьи-то ботинки, прохожу в кухню.

За столом — парень с девушкой (судя по всему, те самые солисты). На полу рядом с умывальником — длинноволосый бородатый человек. Улыбается. В руках — полуторалитровая бутылка пива. У батареи — еще одна парочка. Представитель сильного пола что-то оживленно рассказывает бородатому. Девушка, худенькая и светловолосая — скорее девочка — молчит и переводит взгляд с бородача на того, что рядом с ней, и обратно.

На столе плитура, несколько стопок и какая-то снедь. Нахожу себе место у плиты. Сажусь на пол. На вопрос: «Будешь?» согласно киваю и беру стопку.

С того самого момента, как открыл глаза, не дает покоя вопрос: «Где я?»

Нет. Вру.

Два.

Второй: «Кто вы?»

И, если уж быть совсем честным, то есть еще и третий: «Как я здесь оказался?»

Но задать все эти вопросы вот так, сразу, стесняюсь. Представляю, что за этим последует: дружный смех, может быть, даже аплодисменты: допился, дескать...

Ну да, знаю, знаю, насколько банально все это выглядит. Но поймите правильно: я не первый день живу и уж точно не первый раз попробовал алкогольные напитки. Было всякое: и дрался, и падал на ровном месте, и плясал барыню. Но я всегда — повторяю, всегда — на следующий день мог хотя бы приблизительно восстановить ход событий. Сложить мозаику. Выстроить видеоряд.

Тут же — хоть в лепешку расшибись. Все обрывается на вечере пятницы, а дальше — сумеречная зона, черный квадрат. Сплетение лиц, огней, улиц, голосов. Объединить все эти фрагменты в единую картину трудно. Если не сказать по-другому, то есть «невозможно».

Почему-то делается страшно. Легкий такой морозец по коже.

Аккуратно пододвигаю к девушке за столом, судя по всему, хозяйке. Полная. В свободной серой рубашке, которая полнит ее еще сильнее. С толстой косой. В этой косе есть что-то отталкивающее, словно стоит взять ее в руку — и пальцы покроются слоем жира. Волосы последний раз мыла, наверное, с неделю назад.

Как бы невзначай, растягивая слова, стараюсь не выдавать волнение, спрашиваю (тихо, чтобы другие не услышали):

— Слууушай, а какой сегодня день недели?

Толстушка с вокальными данными Нины Хаген секунду-другую вращает глазами. Морщит лоб. Потом говорит:

— Воскресение.

И потом уже почти по-матерински спрашивает:

— Торопишься куда-нибудь?

— Нет.

Минут пять (за это время тот, что за столом и тот, что под подоконником, успевают рассказать по анекдоту и плавно перейти к обсуждению последнего романа Паланика) сижу молча. Набравшись храбрости, снова обращаюсь к хозяйке:

— Я понимаю, как это звучит, но все-таки... — ну такая уж у меня манера, все время словно бы оправдываться. — Мы тут давно уже тусим?

— Со вчерашнего вечера. Часов с пяти.

Хозяйка понимающе улыбается (типа «Птичья болезнь — перепел? Бывает...»). Вопреки первому впечатлению, что-то в ней все-таки есть. Что-то доброе. Настоящее.

Картина проясняется. Немного. Но страх не исчезает.

Черный квадрат никуда не пропал. Он просто сократился в площади. Да, собственно, и не сократился. Я ведь не помню ни того, что было до пяти, ни того, что после. Пять часов — как пометка. Зарубка, по обе стороны от которой пустота и неизвестность.

Я думаю: нужто все это из-за пьянки?

Тип под подоконником втолковывает обладателю истеричного голоса:

— Ничего ты не понимаешь. Паланик — шизофреник. У него постоянные повторы. Да тебе любой психотерапевт скажет, что частые повторы — верный признак умственных отклонений.

Я думаю: может, споткнулся и ударился головой?

Истеричный голос поучительно (настолько, насколько может быть поучительным истеричный голос) вещает:

— Паланик не псих. Он нормальный мужик, который просто смеется над собой и над окружающими.

Я говорю:

— Ладно, народ, погнал я (я всегда так говорю, когда ухожу). Счастливо всем.

Спрашиваю, как мне отсюда добраться до дома.

Обуваюсь.

Одеваюсь.

Меня ждет хруст снега, редкие прохожие — скукожившиеся, пытающиеся с головой спрятаться в одежду — пустая остановка и неприятные мысли.

Уже на выходе поленькая ловит меня за рукав.

— Погоди. Ты сестренку свою здесь, что ли, оставишь?

— Какую, — спрашиваю, — сестренку?

Может, я и не помню, чем занимался почти двое суток, но все остальное знаю на зубок. На сто процентов.

Нет у меня никакой сестренки.

И тут из кухни выходит та самая «девочка», что сидела под подоконником. И смотрит на меня.

Вот так все и началось.

* * *

...Я разговариваю с Леной. Вернее, с ее призраком. Или душой — кому как нравится.

Два дня назад Лена проглотила сорок восемь таблеток димедрола и запила их водкой «Докторская». Врачи приехали слишком поздно.

Теперь я очень часто общаюсь с духами. То есть практически постоянно. Они не оставляют меня ни во сне, ни наяву. Это началось после того, как мне рассказали о Ее смерти.

Я спрашиваю у Лены, как она ощущает себя в новом качестве. Она говорит, что нормально.

Она говорит:

— Днем я смотрю на своих родственников и знакомых. Хожу за ними. Некоторые вспоминают меня и плачут. Я все это вижу, но не могу ничего сделать.

Завтра ее похороны и Лена спрашивает, приду ли я. Я обещаю прийти.

Лена говорит:

— Сегодня произошла странная штука. Я оторвалась от земли и стала подниматься. Как в песне: «Все выше, и выше, и выше».

У нее слабый голосок, как у младенца или человека, который болен простудой.

Она говорит:

— Не хочу, чтобы это повторялось.

Я отвечаю — не волнуйся, не повторится. И при этом отдаю себе отчет в том, что вру. Наоборот: чем ближе к сороковому дню, тем чаще она будет отрываться от земли. Пока не улетит совсем. И все это время я буду с ней. Буду говорить, что все нормально. Стараться сделать ее переход как можно более безболезненным.

Я буду делать все это потому, что, помогая ей, смогу хоть как-то реабилитироваться перед самим собой. Перед той, другой, реабилитироваться уже не получится.

Лена спрашивает:

— А твоя сестренка давно умерла?

Два месяца назад, отвечаю я. Два месяца...

* * *

Еще раз повторюсь — это я был ей нужен. То есть мне, конечно, было приятно, что стоит позвонить — и она обязательно придет. Будет сидеть рядом и смотреть преданными глазами. Именно так, наверное, фанатки битлов смотрели на Джона или Пола. Даже нет — так сказочные принцессы смотрят на сказочных принцев. То есть мне кажется, что именно так все и должно быть.

Принц сидит на своей белой лошадке вполоборота. Одна его половина обращена к возлюбленной, а другая (которую не видно) нацелена в будущее — к мыслям о политике, бизнесе, какой-нибудь местечковой группе, в которой принц играет на бас-гитаре. Он сидит, а принцесса смотрит на него. В ее взгляде — любовь и щенячья верность.

Вот и она так же на меня смотрела.

А еще в этом взгляде было кое-что, от чего мне делалось не по себе. Иногда мне казалось, что она глядит с какой-то безнадежной, упертой жадностью. Сейчас-то я понимаю, что это была жадность

алкоголика, которому после двухнедельного запоя утром подносят сто грамм, или наркомана, в самый разгар ломки обнаружившего запрятанную дозу. Жадность, не знаю уж насколько нормальная, но, во всяком случае, естественная и понятная. А тогда я просто видел, что девчонка на меня запала.

От таких взглядов где-то на уровне солнечного сплетения начинает скапливаться тяжелый и неприятный сгусток. Я называю это реакцией отторжения. Человек вроде бы тянется к тебе, и вроде бы он тебе нравится, а ты его безо всяких причин отталкиваешь.

* * *

...Неделю назад Вадика сбила машина, но по нему ничего такого не скажешь. Никаких ушибов и открытых переломов. Никаких кровоподтеков и царапин. Тот Вадик, которого хоронили четыре дня назад, выглядел совсем по-другому. Гроб не открывали.

Грузовик марки «MAN». Восемьдесят километров в час. Мальчик выбежал на дорогу слишком неожиданно. Водитель, который в этот момент менял диск в магнитоле, среагировал слишком поздно.

Вадик спрашивает:

— Если я умер, то почему я разговариваю с тобой, вместо того, чтобы быть на небе?

Я отвечаю, что ему придется побыть тут еще какое-то время.

Вадик говорит:

— Я хочу к маме.

Я молчу, потому что ничем не могу ему помочь. Он просто должен привыкнуть.

Он говорит, что сегодня попробовал обнять Олю (это его старшая сестра), но у него ничего не получилось. Он словно бы прошел сквозь нее и упал на пол (я вспоминаю фильм «Привидение» с Вупи Голдберг и Патриком Суэйзи — непонятно почему, но создатели картины оказались недалеко от истины). Я вижу эту сцену вместе с ним. В тот момент, когда Вадик прикасается к сестре, она моргает и оглядывается по сторонам. Наверное, что-то чувствует.

Вадик спрашивает:

— А почему ты можешь меня видеть, а другие нет?

Я объясняю, что сделал очень плохую вещь и теперь расплачиваюсь за это.

Он тянет руки к стоящему на столе стакану с изображением Эйфелевой башни. Рука проходит сквозь керамику. В такие моменты он обычно начинает плакать. Чтобы этого не произошло, я начинаю напевать» «Месяц над нашей крышей светит...» Эту песню

мне в детстве пела мать. Глупая старая песенка, но с Вадиком она всегда прокатывает. Он сворачивается калачиком на моем диване и засыпает.

Не знаю, как уж там на небе, но во время «сорокадневки» (я это так называю) души — это почти обычные люди, уж поверьте мне. Только не существующие физически. Они спят, пытаются есть, переживают из-за работы и все такое прочее.

Спящий Вадик исчезает. Не знаю, куда он переносится, но скорее всего, приближается к другому, противоположному краю.

Я зачеркиваю в календаре еще один день.

Осталось тридцать три...

* * *

Со временем мне все-таки удалось ее разговорить. Не на все сто, конечно, но и это было уже хоть что-то. Оказалось, что она регулярно посещала местный психдиспансер. Состояла там на учете. По поводу своего недуга, правда, никогда не рассказывала. Я так и не вытянул из нее ни слова на эту тему.

У нее были отец, мать и старший брат. Отец — старый работник. Мать — психиатр (или психотерапевт, я не шибко разбираюсь в таких вещах). Именно мама, кажется, и пристроила дочь в клинику. Брат, заядлый компьютерщик, работал сисадмином в юридической конторе (Однажды мы гуляли по набережной. Я начал рассказывать что-то о компьютерах, в которых сам-то не особенно разбирался. Она улыбнулась и спокойно поправила меня. После этого случая про компы я старался не разговаривать).

Она была умницей, хоть и не любила этого показывать.

* * *

...Наши с Леной посиделки становятся все короче.

До ее перехода осталось два дня. Некоторые души, правда, задерживаются среди живых. Одна, помню, продержалась сорок шесть дней. Обычно такое происходит с теми, кто не хочет расставаться с близкими.

Или боится того, что ждет его впереди, на другой стороне.

Или атеист.

Или обладает большой волей к жизни.

Но рано или поздно уходят все, вы уж поверьте.

Я хочу спросить у Лены, не страшно ли ей. Но быстро осекаю себя. По ее глазам видно — страшно.

Мне кажется, она очень жалеет о том, что сделала. Но теперь уже ничего не попишешь.

У каждого есть право выбора. Остаться с человеком или бросить его, решив, что будущего у вас нет. Дать помиряющему с похмелья алкоголику два рубля или пройти мимо, а может, еще и послать, решив, что эти два рубля его все равно не спасут. Жить или принять сверхдозу димедрола.

Право выбора правом выбора, но самоубийство — хреновая вещь. Противоестественная. Я вижу это по Лениным глазам. В них столько ужаса — вам лучше не знать.

Все-таки что-то живое в ней еще осталось. Что-то женское. Она просит:

— Расскажи про ту девушку. Ну, про «сестренку».

Мы запросто можем разговаривать на такие темы.

Я в очередной раз говорю, что та девушка прониклась мной (не хочу употреблять слово «любила»). Что-то она во мне нашла. У нее были не в порядке нервы. Я наверное, мог ей как-то помочь. А вместо этого убил ее. И теперь вот общаюсь с такими, как Лена. Помогаю им перейти в другой мир.

— То есть в каком-то смысле ты держишь нас за руку?

Угу, киваю я. В каком-то смысле.

Лена интересуется насчет маленького мальчика, которого сбила машина. Я отвечаю, что он придет сразу после нее.

Души всегда приходят поодиночке. Что-то вроде индивидуальной консультации. Если так, то я — кто-то вроде личного психолога.

Сядьте, расслабьтесь, дышите глубоко. Закройте глаза. Я буду рядом.

Лена спрашивает, как у него дела, как проходит его «переход».

Я говорю, вроде бы все нормально...

* * *

На день рождения «сестренка» подарила мне свитер. Мне было очень неловко. Не знаю, почему. Та самая реакция отторжения, о которой я уже упоминал. Человек вроде бы хочет как лучше. Ты видишь это по его глазам. Но не можешь ответить взаимностью. Просто принимаешь подарок. Изображаешь радость и глубоко внутри презираешь себя за это. За то, что терпишь этого человека.

Или делаешь что похуже. Например, бросаешь.

Или убиваешь.

Она была по-своему привлекательной. Не мой идеал, конечно, но все-таки...

У нас был нормальный здоровый секс.

Вроде бы все хорошо. Но каждый раз после контакта (мне нравится называть это словом «контакт» — по крайней мере, тогда нравилось), или после того, как я ловил этот ее преданный взгляд (часто такое случалось как раз после контакта), внутри словно бы что-то обрывалось. Как будто в кровеносную систему попадал непонятный новый фермент. Он влиял на работу мозга, и перед глазами словно всыхивали красные буквы:

«Стоп!»

«Отойти на пятьдесят метров!»

Или что-нибудь в этом духе.

Мне казалось, что я хуже ее. Я начинал воспринимать самого себя как хищного подлого зверя, трусливого и жестокого одновременно.

Впечатлительностью я отличался всегда. А еще больше — постоянным стремлением к самоанализу, самокопанию и отыскиванию проблем там, где их нет.

Разглядеть в самом себе какую-то гадость — в этом я специалист. Если нужны консультации, обращайтесь.

В основном, подчеркиваю, именно гадость. Если я вижу в себе хорошую черту, то тут же принимаюсь убеждать себя в том, что этой черты, этого качества у меня нет. А если и есть, то ничего такого в этом особенного, и эта самая единственная хорошая черта — ничто в сравнении с полным боекомплектом гадостей.

* * *

... Душа Вадика сидит на спинке кресла и перекидывает из руки в руку резиновый мячик. Не знаю откуда, но у мертвых иногда появляются разные вещи. Лена, например, перед тем, как полностью перейти (это произошло позавчера), держала в руках черную книгу. Названия я не разглядел — буквы были слишком витиеватыми, какими-то старомодными. Может, это вообще был рисунок.

Мне кажется, что в последние свои дни на земле мертвые стараются вызвать в памяти предметы, которые были для них очень дороги — книги, игрушки, инструменты — и эти вещи помогают им осуществить переход быстрее.

Я был с самоубийцей Леной до самого конца. За несколько минут до того, как исчезнуть, она начала плакать. Надеюсь, что это ей помогло. Вадик вот плачет регулярно, потому что он еще ребенок и не научился скрывать свои слезы.

Слезы и вправду очищают. То есть мне так кажется, потому что сам я не помню, когда в последний раз плакал.

Вадик насвистывает что-то себе под нос, а я набираю номер Вики — хозяйки той квартиры, где, собственно, и началась вся история. На то, чтобы узнать ее номер, ушло месяца полтора.

Гудок.

Еще гудок.

Третий гудок прерывается где-то посередине и хриплый женский голос говорит: «Алло?»

Минуты три уходит на то, чтобы объяснить, кто я такой.

«Ну, тот самый чел... который вырубился на диване... который спрашивал, какой сегодня день... да-да, с «сестренкой».

Вспомнила.

Время действовать.

Я спрашиваю, не помнит ли она, как на том флэйте оказалась моя «сестренка»?

Пауза.

Потом: «Что значит — как оказалась? Это же твоя сестренка. Вы с ней вместе пришли».

Я спешно объясняю, что никакой сестры у меня нет. Что в тот день увидел эту девчонку впервые.

«Ну, не знаю. Вы пришли вместе с остальными, и ты все время обнимал ее и называл сестренкой. А потом ушел в зал и там заснул».

Я говорю «спасибо, пока» и кладу трубку.

Значит, произошло то, чего я и боялся. Никакой судьбы не было. Никаких знаковых совпадений, ничего такого, что могло бы хоть немного оправдать наши отношения. Мне было бы легче, если бы я знал, что все произошедшее можно объяснить предназначением, роком, из-за которого ни я, ни она не могли поступить иначе. Что-то в этом духе.

А все, оказывается, гораздо проще.

Я, будучи пьяным, приметил девчонку.

Она на меня запала. А я ее убил. Вот и весь сказ.

Вадик говорит:

— На последний новый год папа дал мне попробовать вино. Давай я сейчас сделаю так, чтобы оно появилось на столе. Я хочу попробовать его еще раз перед тем, ну, как уйду насовсем. Интересное ощущение. Хочу его запомнить. Но одному как-то неловко.

Я отвечаю, что детям пить вредно, пусть даже и мертвым.

И вообще — я не пью...

* * *

«Я иногда представляю себе, как спасаю людей. Например, от самоубийства. Вытаскиваю человека из окровавленной ванной или

из петли. Перевязываю ему руки или делаю искусственное дыхание. Звоню в скорую. При этом прекрасно понимаю, что в реальной жизни на такое не способен. В реальной жизни его вытащил бы кто-то другой, а я стоял бы в стороне и в лучшем случае был бы «на подхвате» (например, помог бы положить на кровать или набрал бы «02»).

В таких фантазиях есть что-то отвратительное.

Я читал в газете статью об одном маньяке. Так вот, он тоже представлял себе, как совершает подвиги. А потом шел насиловать и душить девочек.

Вся мерзость — в контрасте между желаемым и действительным. Проблема не в том, что в мире нет места подвигу, а в том, что ты сам на него не способен. И, зная это, продолжаешь фантазировать.

У меня нет даже чувства отвращения к самому себе. Есть только какое-то холодное оупение внутри.

Я холодная тварь, и, что самое страшное, с зачатками души. Лучше бы этих зачатков не было.

Пора что-то со всем этим делать.

У меня есть кое-какие принципы. Один из них: если не можешь что-то поменять в конкретной ситуации — уходи. Я всегда следовал этому принципу, и тогда, с «сестренкой», тоже. Пора последовать ему и теперь.

Я не могу поменять себя.

Таким, какой я есть, я себя тоже не устраиваю.

Значит, пора уходить.

Простая логика.

Арифметика.

Никаких соплей».

Все это я написал уже после ее смерти и до того, как начал общаться с духами. Тогда я всерьез хотел покончить с собой.

Благодаря мертвым я понял, что самоубийство — очень страшная вещь, и что сделать этого я не смогу, и что я, таким образом, застрял где-то посередине между двумя мирами. А в остальном, в общем-то, не поменялось ничего.

Теперь я понял, что никогда не умел любить. Все, что я сделал, было продиктовано страхом либо ненавистью, но чаще всего — равнодушием.

Я знаю, что не одинок.

Колонны таких же равнодушных, как я, нестройным шагом топаят к остановкам. Миллионы полумертвецов выплевывают остатки жизни в пластиковые «ваучеры». Щедро делятся своими соками с телевизором или дисплеем компьютера. По-братски раздают свою

теперь уже не любовь, а лишь способность любить, виртуальным шлюхам.

Нас учат этому. Нас подталкивают. Если верить политикам и людям искусства, то раньше, в советские времена, все были серыми. Ну что ж, теперь все попестрели. Но кроме окраски не изменилось ничего. Раньше была партия, социализм и светлое будущее, теперь есть корпоративная культура, телевизор на пятьдесят каналов, «аська», тапаксы и Верка-Сердючка. Скромные боги-энтузиасты переехали в четырехэтажные коттеджи. Любящие богини вырядились в секшоповское белье.

Мы маршируем к одной-единственной цели, точнее, к трем: нелюбовь, безнадега, неверие. Вслух никто об этом не скажет, потому что говорить о таких вещах — все равно, что рассказывать о случаях инцеста, имевших место в твоём детстве. Или о садомазохистских наклонностях своей жены. Об этом в обществе говорить не принято.

Никто не признается в этом даже самому себе. Потому что каждый хочет считать, что уж он-то верит, любит, надеется. И эту уверенность тщательно поддерживают. Не верите? Включите телевизор. Сколько там любви! Сколько преданности! Сколько веры и надежды!

Такие вера, надежда и любовь вас не устраивают? Ну, вы уж это бросьте.

Вы считаете, что все это — фальшивка, суррогат? А вы просто попробуйте, приглядитесь к Прекрасной Няне — разве она не олицетворяет собой женское начало, а следовательно, и любовь? Пригляделись? Теперь понимаете? Вот. Садитесь и смотрите. А завтра — к станку. В офис. В парламент.

Хотите доказать любовь своему избраннику? Устройте романтический вечер в элитном ресторане. К вашим услугам японская кухня, квалифицированный персонал, приемлемые цены. Нет денег на ресторан? Не расстраиваетесь. В магазине бытовых приборов до конца месяца действуют скидки. Порадуйте свою половинку новым утюгом!

В этом плане мы еще очень далеки от запада. Россия по-прежнему остается, по большому счету, диким полем. Но работа в нужном направлении ведется. Валики крутятся. Цепи хорошо смазаны. Экскаваторы копают. А мы, равнодушное большинство, не имеем ничего против. «Имя нам — Легион».

* * *

Я убил ее из страха.

Реакция отторжения взяла-таки вверх. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Я решил ее кинуть.

Процесс «кидания» растянулся примерно на месяц. Я не мог просто вот так взять и бросить ее. Знаю, что это было бы правильнее и честнее, но не мог и все тут. Потому что это накладывало бы на меня определенные обязательства, а от ответственности я всегда бежал, как от огня. Банальное сравнение? Ну извините.

Я решил расстаться потихоньку, без всяких там сцен. Стал звонить все реже и реже, потом вообще прекратил. Мне хотелось, чтобы она сама все поняла. Это был бы идеальный вариант. Но она не хотела ничего понимать.

Женщины чувствуют, когда их хотят кинуть. Она начала писать по пять эсмэсок в день. Потом по десять. Потом по пятнадцать. Выпрашивала встречу. Когда ей это удавалось, я молчал, а она шла рядом и смотрела этими своими чертовыми преданными глазами.

В итоге состоялся разговор, пересказывать который, наверное, нет смысла. Я нес всякую банальную интеллигентскую чушь насчет того, что не достоин ее и что она может найти себе кого-нибудь получше.

Расстались без слез и криков. Молча дошли до остановки. Мой троллейбус подошел первым. Я сказал «пока» и зашел внутрь.

Тогда я увидел ее в последний раз. Из окна троллейбуса. Она стояла под фонарем, похожая на девочку из фильма «Звонок» — ребенок, которого предали. Бросили.

Она стояла, вся какая-то ссутулившаяся, волосы полностью закрывали лицо (или мне так показалось). Как привидение, которое вырвали из его холодной, непонятной реальности и теперь снова туда возвращают.

Через две недели она выпрыгнула из окна своей комнаты. Восьмой этаж.

Она умерла сразу.

Как оказалось, она вела дневник.

Я всегда считал ведение дневников скучным и бесполезным занятием. Зачем все это? Следовал простой логике: хорошие воспоминания — они и так останутся, а плохие — на кой черт их записывать?

Она же доверяла дневнику все свои мысли. Месяца за три до самоубийства (то есть примерно с того дня, как мы встретились) записи сделались радостными. Оптимистичными. Словно бы она нашла решение своей проблемы.

За две недели до смерти (то есть примерно с того момента, как я ее кинул) она перестала что-то записывать. Сделалась еще более молчаливой и почти не выходила из дома. Доктора в диспансере не знали, что с этим делать.

Обо всем этом мне рассказала ее мать. Это был единственный раз, когда мы общались. Нашла мой номер у нее в мобильном телефоне и позвонила. Хорошая мать. Настоящий профессионал. Она регулярно прочитывала дневник своей дочери, о чем последняя не подозревала.

На похороны я не пришел. Реакция отторжения.

* * *

...Мы с Вадиком идем по тротуару. Заходящее солнце светит в глаза. Оранжевые лучи стелются по асфальту.

Безгрешный покойник и живой грешник. Мы находимся на одной оси координат, по разные стороны от нулевой точки, имя которой Смерть.

Сегодня последний день Вадика на земле. По такому случаю мы сделали исключение. Вышли из моей квартиры и отправились гулять. Думаю, Вадика это будет полезно. Пусть последний раз посмотрит на мир — такой, какой он есть. Сверху все, наверное, будет выглядеть по-другому.

Вадик говорит:

— Сегодня был у себя на сороковом дне. Видел, как мама с Олей опять плакали. Отец в основном сидел и молчал, а гости пили водку и ели пироги. И лица у всех были какие-то мрачные.

Я говорю ему, что люди всегда ведут себя на поминках именно так — делают вид, что понимают и разделяют боль родственников. На самом деле на это способны только самые близкие. Остальные просто выполняют нудный ритуал. Играют в спектакле, даже, скорее, в массовке, где у всех одна задача — делать скорбные лица. Есть пироги и пить водку.

Проходящая мимо старушка испуганно смотрит на парня, который вполголоса говорит с самим собой. То есть на меня.

Вадик спрашивает:

— Что ты будешь делать после того, как я уйду?

Я отвечаю, что придет кто-нибудь еще.

Еще одна душа, ожидающая перехода.

Еще один человек, которому надо будет выговориться напоследок.

Еще одно существо, потерявшее все, что имело.

Кто-то, кто не успел отдать свои долги, признаться в любви, извиниться перед другом, набить морду начальнику, вырастить ребенка.

Я буду сидеть и слушать их.

Неотданные долги и несказанные слова — как гнилые зубы. Лечить их уже бесполезно, остается только удалять. Вырывать с корнем. В течение сорока дней все души пройдут курс интенсивной терапии, где я буду выполнять роль местного наркоза. Немножечко смягчу боль. Помогу подготовиться.

Потом мы идем молча.

Примерно через час Вадик исчезает — теперь уже навсегда.

Никаких слов прощания или благодарности. Оно и правильно. Я просто в очередной раз сделал свою работу, которую получил в наказание за то, что бросил человека. Не помог тому, кто во мне нуждался.

Я буду исполнять свою миссию снова и снова, до тех пор, пока во сне или наяву — если это произойдет, я не удивлюсь — не увижу девушку-ребенка, которую убил, и не услышу от нее три слова. Каждое из них я часто повторяю про себя.

«Я. Тебя. Прощаю».

Возможно ли такое?

Не знаю.

Все, что мне остается — стиснуть зубы и работать.

Я сижу на застекленной веранде сельского дома, неподалеку от президентского санатория «Волжский утес». Влетающий в затянутую марлей форточку ветерок гоняет по столу конфетные фантики и шевелит мои волосы.

По ту сторону от веранды, за стеклом, сидит русалка и не сводит с меня взгляда.

У русалки длинные грязные волосы, большая обвислая грудь и гусиные лапы. То есть это славянская русалка, а не какая-нибудь ундина или мермэйд.

Она подстерегала меня в саду. Когда она гналась за мной, я успел услышать ее дыхание и даже почувствовал запах изо рта. Запах тины и тухлой рыбы.

Когда ты долго находишься в осаде, то чего только не перепробуешь. Первые два дня я пытался укрепить дом. Придвинул к входной двери холодильник. Заколотил окна кстати оказавшимися в доме кусками фанеры. Но мне кажется, русалка не собирается проникать внутрь. Мне кажется, она хочет, чтобы я сам ее впустил.

У нее длинные кривые зубы. На пальцах ногти — тоже длинные и кривые.

Иногда она обходит вокруг дома. Я стараюсь передвигаться так, чтобы не терять ее из виду. Когда она проходит через двор, я вижу тело Лены рядом с собачьей конурой. В конуре уже давно никого нет.

После того, как я понял, что забираться в дом она не собирается, я принялся выискивать в «Большом мифологическом словаре» и бесчисленных справочниках любую информацию о русалках. Сведений оказалось много, но нигде не говорилось о том, как ее убить или прогнать.

Проходя мимо тела Лены, русалка тычет в него здоровым крюком, который всегда у нее в руках. Словно дразнится. Словно знает, что мы были больше, чем просто двое оставшихся в живых людей на черт знает сколько километров вокруг.

На четвертый день осады я принялся за алкоголь. Полбутылки водки «Мягков», триста грамм «Хеннеси», две бутылки «Изабеллы» и бутылка шампанского «Советское» — все это имелось на черный день у меня в баре. Рекламная компания алкопрома. Только необходимость в рекламе теперь отпала, также как и в алкоголе. Людей с каждым днем становится все меньше, а те, кто приходят им на смену, не употребляют спиртное.

В санатории (а если точнее — в президентской резиденции) этим маем планировалось провести саммит стран Европейского Союза. Тогда еще никто не знал, что через месяц не станет ни президента, ни Евросоюза.

Русалка смотрит на меня, и я вижу, как блестит слюна у нее во рту и на подбородке. Глаза в лунном свете похожи на две большие серебряные монеты. Эти глаза ничего не выражают.

Она может разбить стекло веранды своим крюком, но не делает этого.

Просто сидит и смотрит.

После того, как алкоголь закончился, я нашел себе новое увлечение. Шоколадные конфеты.

Лена очень любила шоколадки. Я нашел на кухне два полиэтиленовых пакета, доверху набитых сладостями. Шоколадки и чупачупсы оказались в тумбочке с Лениной стороны кровати. Погреб был завален мороженым в стаканчиках.

Не знаю, была она сладкоежкой до того, как произошло все это, или это было ее реакцией на случившееся. Если так, то я не удивлюсь. После того, как мир за пару недель становится другим — окончательно и бесповоротно — не мудрено тронуться умом хоть чуть-чуть. И поедание сладостей — не самый худший вариант.

В любом случае, сейчас ей не до шоколадок и карамели. Сейчас она лежит лицом вниз посреди двора, рядом с пустой конурой, и земля под ней темная от крови. Синее с белым платье покрыто бурыми пятнами.

Сегодня я провел ревизию. Моих запасов хватит еще на пару недель. Это если экономить. У меня есть мясные консервы (три банки), рыбные консервы (две банки), четыре пакетика лапши Lion King (бичпакеты, как их еще называли), банка майонеза «Провансаль» на перепелиных яйцах, пять кубиков «Maggi» и банка сгущенки от Главпродукта. Хлеб кончился позавчера. Есть еще конфеты, но на них долго не протянешь.

Когда я встаю, чтобы дойти до импровизированного туалета, который устроил в сених, у меня под ногами хрустит ковер из фантиков: белые, коричневые, синие, красные, оранжевые бумажки, маленькие кусочки картона и обрывки фольги.

Прямо на веранде, на тумбочке, стоит открытый ноутбук. От него никакой пользы, так же как от холодильника Stinol, телевизора LG, стиральной машины Indezit, магнитола Vitek и мобильного телефона Pantech. Все это находится в доме. Сплошная реклама, если не учитывать тот факт, что те, кто скоро станут новыми хозяевами мира, не нуждаются ни в электричестве, ни в сотовой связи.

Приборы — доказательства краха рационального мышления и начала новой эры.

Еще одно доказательство смотрит на меня из сада и иногда переминается с одной перепончатой лапы на другую.

Люди не хотели смотреть в лицо правде даже после того, как сразу в нескольких местных газетах появились материалы об убийстве в одном из пригородных сел. Тело хозяина частного дома было обезображено и обескровлено. Полностью высушено. Снимок трупа опубликовали только в «Тольяттинском обозрении» — самом «отмороженном» издании, которое осталось таким даже после убийства двух главных редакторов. Остальные печатать фотографии побоялись.

Журналисты вначале отрывались, кто как мог. Не брезговали даже черным юмором. После того, как в течение нескольких последующих дней в пригороде нашли еще десять (или двенадцать — не помню) тел со схожими «симптомами», стало уже не смешно. А еще через пару дней перестали выходить газеты.

Стол в зале завален словарями, справочниками, художественной литературой, журналами и распечатками с Интернет-сайтов — всем, что я успел раздобыть, пока была возможность.

Ведьмы, инкубы, волколаки, лепреконы, чупакабре, дэвы, водяные.

Мой путеводитель по умирающему миру.

Тролли, домовые, вампиры, кобольды, кикиморы, эльфы, русалки, лешие, песочные человечки.

Пособие по выживанию в кошмарном сне, который в один прекрасный день стал явью. «Прекрасный» — это ирония, если вы меня понимаете.

Когда появилась русалка, Лены не было дома. Она пошла за продуктами в сельский магазин.

Перед тем, как уйти, она пошутила: дескать, на кредитной карточке у нее сейчас нули, но она попытается уговорить продавца дать ей продукты в долг. Мы вместе посмеялись.

Сейчас она лежит в окровавленном платье, а вокруг нее разбросаны пакеты с макаронами, банки с тушенкой и зеленым горошком, коробочки с молоком и заплесневелые буханки. Русалка ни к чему даже не притронулась.

Чем они вообще питаются, эти русалки? В преданиях говорится о том, что они затаскивают людей в воду. Завлекают с помощью пения (это про европейских) либо просто заволакивают силком (это про славянских). Но что они делают с телами потом? Жрут? Оставляют гнить?

С домом мне повезло. Вернее, нам с Леной. Впрочем, Лене сейчас на это наплевать, если вы понимаете, о чем я.

Добротный двухэтажный сруб. Вполне возможно, что здесь жил кто-то из местных чиновников. Может быть, даже глава сельской администрации.

Я поднимаюсь по лестнице, на ходу разворачивая шоколадный трюфель. Блестящая обертка падает и шуршит вниз по ступенькам. Бывший хозяин этого, наверное, не одобрил бы.

Расположенная на втором этаже детская залита лунным светом. Длинные тени тянутся от диванчика, деревянного коня, кровати с высокими бортами и от стульчика для малышей — прямо к входной двери.

Когда мы пришли в дом, он был пуст. На окнах детской изнутри видны были кровавые разводы. Понятия не имею, откуда они взялись. Мы не стали это обсуждать.

После того, как мы приняли решение остаться здесь, Лена взяла ведро, тряпку и смыла кровь.

До того, как прекратилось вещание, по телевидению успели показать серию репортажей из разных точек планеты. Некоторые я успел записать на пленку. Кассеты, наверное, и сейчас лежат дома. То есть в городе, если вы въехали, чем я. Там же — вырезки из газет, местных, региональных и федеральных.

«Жители австрийского городка Трибен атакованы десятками карликовых существ, которые, по словам очевидцев, вылезли прямо из-под земли. Власти приводят цифру в девяносто погибших. Борьбу с неизвестной формой жизни ведут войска, но пока, по неофициальным данным, безуспешно».

«Число погибших от рук неизвестных убийц в Лондоне насчитывает полторы тысячи. Количество жертв растет».

«Президент Магаото найден мертвым на своей загородной вилле. Медики констатировали смерть от разрыва сердца. Это уже не первый случай в ряде южноафриканских государств. Создается впечатление, что жертвы были напуганы до смерти».

И так далее, и тому подобное. С десятков вырезок. Минут сорок на видеопленке.

Считанные дни.

Все, что я успел собрать.

Краткая хроника умирания мира.

«Сайонара» человечества, если вы врубаетесь, что я имею в виду.

Все произошло очень быстро. Слишком быстро, чтобы кто-то успел хоть что-нибудь понять.

Слишком-слишком-слишком-слишком, говорю я пустой детской. И добавляю: сайонара.

Деревянная лошадка молчит, так же, как мячики, покрывальца, подушки, книжки на полках и подвешенные над кроватью погремушки.

Я вспоминаю Лену и говорю: адиос.

Я подхожу к окну. Отсюда весь поселок — как на ладони. Никаких источников света, если не считать луны и звезд.

За домами лес. За ним — горы, такие же, как миллионы лет назад, то есть тогда, когда человек у Бога был еще только в проекте.

Лена была очень набожной. Вместе со сладостями она притащила домой Библию, молитвослов и маленькую книжку в мягкой обложке, что-то вроде «Карманного справочника православного христианина».

Мир вокруг нас захватывали существа, о которых христианская доктрина упоминала не иначе как о проявлениях суеверия и невежества, а она читала «Отче наш».

Сейчас она лежит рядом с пустой собачьей будкой, в рваном окровавленном платье, в окружении испорченных продуктов и сама уже давно начала портиться.

Она хотела верить в то, что после смерти окажется в мире, куда более лучшем, нежели этот. Надеюсь, так и случилось. Очень надеюсь.

Я слышу шорох и через несколько секунд вижу, как русалка выковыливает из-за угла.

Она следит за мной, так же, как я — за ней. Мы не оставляем друг друга надолго.

Луна светит ей в спину, и я вижу только черный силуэт. Из-за крюка одна рука кажется длиннее.

Мне хочется крикнуть ей — зачем ты меня пасешь? Даже если я убегу, меня поймают кто-нибудь другой. Какой-нибудь упырь. Вурдалак.

Мне хочется завопить — залезай внутрь и убей меня.

Она не шевелится. Стоит и смотрит. Ее тень тянется к дому.

С минуту я раздумываю, а не прыгнуть ли из окна. Вниз головой. Тогда я не достанусь ей.

Я беру из кармана барбариску. Разворачиваю и кладу за щеку. Слюна приобретает ягодный вкус.

Нет.

Инстинкт самосохранения, если вы втыкаете, о чем я толкую.

До того, как вырубился Интернет, я перелопатил кучу сайтов. На одном из них был снимок дракона, зависшего над Останкинской телебашней. В информационном сообщении говорилось, что по личному указу президента в воздух поднялись два «Мига». Через двадцать три минуты оба самолета превратились в груды расплавленного железа.

Ни тот, кто сбросил новость на сайт, ни тот, кто отдавал летчикам приказы, не знали, что дракона может убить только сказочный рыцарь. Или принц. Или что-то еще. Что угодно, но уж всяко — не самолет.

Их вообще нельзя убить обычными средствами.

Были, правда, те, кто смекнули, что к чему.

Многие румынские крестьяне принялись обвешивать двери и окна связками чеснока, предварительно запасаясь осиновыми кольями и серебряными пулями. Им удалось продержаться до тех пор, пока с далекого севера не нахлынули полчища гоблинов и троллей. С этими тварями они уже не знали, что делать.

Даже у нас кое-кто принялся чертить у себя в домах круги, вырезать обереги, впопыхах собирать разные травы и варить разные зелья. Но знаний у таких «знахарей» все равно было недостаточно, а существа распространялись слишком быстро. Как эпидемия. Постоянно появлялись новые.

Сейчас Тольятти завален трупами похлеще, чем какой-нибудь Чикаго времен Великой депрессии или Ленинград в период блокады.

Село, в котором находится мой теперешний дом, расположено на противоположном берегу. Когда с запада дует сильный ветер, он приносит запах мертвечины с той стороны Волги.

В селе тоже есть трупы, но их меньше. Гораздо меньше.

Я смотрю на предметы в детской и думаю о том, что у меня тоже мог бы быть ребенок. Теперь это маловероятно. Почти невозможно. Для продолжения рода мне необходима самка моего вида.

Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие, лысые.

Полные, худенькие, высокие, низкорослые, стройные и кривоногие. С пышной грудью и «плоскодонки».

В магазинах, на улицах, в квартирах, в парках, в подъездах и на площадях.

Девушки из трудных семей, наркоманки, модели, девушки в медицинских халатах и в униформе. Дочери депутатов и слесарей.

Выбирай — не хочу.

Проблема в том, что ни одна из них не пригодна для оплодотворения.

Я выхожу из детской и спускаюсь на первый этаж.

Скрип.

Скрип.

Я специально не слглатываю, чтобы рот наполнился ягодной слюной. Улыбаюсь, радуюсь, что русалка сейчас наверняка пребывает в замешательстве.

Она не видит меня, так же, как я — ее.

Мы играем в прятки.

Я вспоминаю песню местного исполнителя. Там есть слова: «Ты со мной играешь в прятки под моей грудной клеткой».

Где сейчас этот парень?

Валяется со следами чьих-нибудь когтей на шее?

Несется по шоссе с перекошенным от ужаса лицом и выпученными глазами, преследуемый стаей оборотней?

Сидит в темном подвале или в квартире, стараясь не издавать ни звука, боясь услышать шаги (стук, шорох, цоканье, шелест) за дверью?

Когда окончательно стало ясно, что никаких улучшений не предвидится, я ушел из города пешком.

Водить машину я так и не научился. Одно из преимуществ прежней жизни, которым я не успел воспользоваться. Так же, как не успел съездить в Англию, сказать бывшей однокурснице, что до сих пор люблю ее, заняться сексом с тремя девушками одновременно и написать роман, действующими лицами в котором были бы мои друзья и знакомые.

Лену я встретил уже на этом берегу. Она сидела посреди трассы М-5 и что-то напевала себе под нос. Рядом стояла черная «десятка». Из открытой со стороны водителя дверцы свисала окровавленная рука. Рука покачивалась, словно тело внутри кто-то сильно дергал.

Я взял ее за предплечье. Поднял рывком. Она продолжала петь.

Не знаю, чья рука торчала из машины. Ее парня. Брата. Отца. Мы никогда об этом не разговаривали.

Веселое майское солнце выглянуло из-за облаков. От порыва ветра задрожали стекла вокзальных окон, а дверца машины стала раскачиваться туда-сюда.

Я ударил ее несколько раз по щекам. Она прекратила петь, но все равно продолжала стоять как вкопанная.

Из кабины доносилось глухое урчание и звуки, напоминающие треск рвущейся материи.

Я начал потихоньку отталкивать Лену прочь от машины. Шаг за шагом. Она не сопротивлялась.

Метров через триста с той части дороги, где стояла машина, донесся вой.

Волчий вой посреди бела дня. Он до сих пор стоит у меня в ушах.

Я глотаю кисло-сладкую слюну.

Барбариска — как память о мире, которого больше нет.

Мы сели у обочины. Непонятно почему, но та тварь из машины не стала догонять нас. Может, просто наелась.

Мы просидели около часа. Потом Лена более-менее пришла в себя — настолько, чтобы продолжать путь.

Путь? Путь — это когда есть какая-то конечная точка. Цель. У нас ничего такого точно не было. Просто шли, куда глаза глядят.

Через несколько километров мы свернули с М-5.

Мы шли всю ночь, а под утро вышли на поселок (село? деревню?) неподалеку от «Волжского утеса».

Конфета хрустит на зубах. Я мешаю языком осколки и вновь задаюсь вопросом, который не дает мне покоя с того самого дня.

Почему на протяжении всего пути нас не тронули?

Мы шли по проселочной дороге, как два привидения, такие же молчаливые и чужие этому миру.

Много раз дорогу пересекали тени. Двунogie. Четвероногие. Совсем без очертаний. Но ни одна из них не метнулась в нашу сторону.

Почему нам дали дойти?

Мы сразу заметили этот дом. Он возвышался над остальными. Я подумал: раз уж мы протоптали черт знает сколько, то почему бы не пройти еще двести метров?

Мы оба были настолько измотаны, что сразу же повалились спать. Проснулись, когда было уже темно, и сидели всю ночь, прислушиваясь к звукам снаружи.

Потом мы возвращались в город. Лене надо было кое-что забрать, да и мне тоже. Разные мелочи. Так в доме появились Ленины библии, сладости, мой ноутбук и кое-что еще из электронного барахла. Я думал найти в селе автономный источник питания. Не вышло.

Мы уже начали потихоньку привыкать к тому, что нас не трогают. Оказывается, нас оставили лишь на время.

Я прохожу на веранду и снова усаживаюсь в кресло. Пытаюсь собрать мысли, сконцентрироваться — на чем? Сам не знаю. На чем уютно.

Ничего у меня не выходит.

Тянет в сон, но, стоит сомкнуть веки, как перед глазами встают заваленные телами города.

Я вижу сающихся на крыши многоэтажек горгулий. Толпы оживших мертвецов, гуляющие по торговым центрам. Обратней в опустевших кинотеатрах. Сатиров и нимф на заброшенных военных базах.

Я успел убежать от неуклюжей русалки. Спрятаться в дом.

Я вижу таких же, как она — сидящих, свесив лапы, на причалах, переговаривающихся о чем-то на своем русалочьем языке.

Я просто сидел в доме и ждал, когда вернется Лена. А русалка ждала вместе со мной.

Что интересно — ни одна из мифологических тварей не попыталась вступить с людьми в контакт. А ведь, если верить преданиям, многие из них общались с людьми. Некоторые даже дружили.

Я вижу целые семейства эльфов — эльфих и эльфят, расстреливающих из луков стада воющих от ужаса двунogie существ, еще недавно считавших себя венцами творения. Вижу милых пушистых зверьком с красными глазками и острыми зубами, душащих во сне человеческих младенцев.

Когда Лена открыла калитку, я закричал, пытаясь не то предупредить ее, не то отвлечь на себя внимание русалки.

Ее лицо побелело. Сделалось как «Творожок «Любимый»». Как «Маслище «Деревенское»». Как кисломолочный напиток «Айран».

Она рванулась к дому, не выпуская из рук пакеты с хлопьями, палками колбасы, консервами.

Может, если бы она бросила все это, то успела бы?

Я беру со стола «Сникерс». Медленно разворачиваю. Откусываю. Закрываю глаза. Когда я открою их, она будет стоять там же, где и раньше. Прямо напротив меня. По ту сторону от веранды.

Мне надо усыпить бдительность хитрой русалки — сечете фишку? Нет?

Я сижу в кресле с закрытыми глазами, а в это время в окрестностях села гигантские летучие мыши висят вниз головой на линиях электропередач. Электричества больше нет. Зато есть они. Летучие мыши то есть.

Когда я раскачиваюсь в кресле, оно еле слышно поскрипывает.

Если не открывать глаза, то может показаться, что за окном — обычная июньская ночь. Ветерок из форточки приятно овеивает лицо.

Не спать.

Не открывая глаз, я бросаю фантик на стол. Тщательно пережевываю остатки. Шоколад. Карамель. Арахис.

Для того, что я собираюсь совершить, мне потребуются все силы. А еще не хватало поперхнуться в самый ответственный момент.

Открываю глаза. Русалка там, где я и ожидал.

Подмигиваю ей.

Вскакиваю с кресла. Разворачиваюсь и бегу на другую сторону дома. В комнату, окна которой выходят во двор.

На бегу сбиваю стоящую в коридоре тумбочку. Адреналин, видимо, зашкаливает, потому что я не чувствую боли.

Тяжелое дыхание. Топот ног. Стук сердца.

Нельзя. Сбавлять. Темп. У меня в распоряжении — считанные секунды.

Врываюсь в кухню. Хватаю со стола чайник. Швыряю в окно.

Звук бьющегося стекла.

Закрываю лицо руками. Прыгаю в окно. Я похож на актера из боевика.

«Крепкий орешек». «Схватка». «Двойной удар». «Скала». «Последний бойскаут». «Адреналин». Груды кассет и дисков лежат на прилавках и полках магазинов. Пластмасса. Хлам.

Неудачно приземляюсь. Боль в лодыжке.

Поскуливая, прыгаю мимо тела Лены, мимо продуктов — к пустой конуре.

Конура стоит вплотную к длинному сараю. Если хорошо оттолкнуться, то можно попасть на его крышу. А там, с другой стороны сарая — что? Не свобода. Не избавление. Там — конец затворничества. Там — отсутствие русалки.

Топот широких перепончатых лап, ни с чем не сравнимый Ее топот — из-за угла. Глухой стук — крюк задевает за бревенчатую стену.

Нога.

Ноганоганоганога....

Ставлю ладони на конуру. Подтягиваюсь. Опираюсь коленом.

Мне почти удается встать на крыше конуры, когда что-то впицается в здоровую ногу и дергает назад. Падая, я ударяюсь лицом о стену сарая.

Твердая шершавая поверхность.

Боль.

Темнота.

Тишина.

Раньше я боялся выходить на работу после трехдневного запоя, боялся, что девушка ответит мне «нет».

Сейчас я сижу на застекленной веранде сельского дома. Окна веранды выходят в сад.

Я боялся японских фильмов ужасов, зеленых машин и романов Франца Кафки. В каждом романе Кафки речь шла о людях, попавших в тупиковую ситуацию.

Теперь русалка наблюдает за мной не так пристально, как раньше. Этого не требуется.

Раньше меня пугал фильм «Война миров».

Русалке не надо за мной следить. С вывихнутой лодыжкой на одной ноге и распоротой икрой на другой далеко я не уйду.

Она подходит ко мне почти вплотную и ставит на пол миску с хлебом и молоком.

Хлеб и молоко. С момента попытки моего побега прошло четыре дня, а она все кормит меня хлебом и молоком. Может, намекнуть ей, что пора бы сменить меню? Знал бы я, как это сделать.

Раньше я боялся летать на самолетах и ходить по темным улицам.

Теперь я не боюсь ничего.

Серьезно.

Когда ты лежишь, практически не в состоянии двигаться, в пустом доме под присмотром русалки и знаешь, что на десятки (а может,

и сотни) километров вокруг не осталось ни одного живого человека, и что мир уже никогда не станет прежним, то уже трудно чего-то бояться. Сечете?

Русалка с самого начала не собиралась убивать меня. Теперь я знаю это. Правда вот, не знаю, сколько еще протяну на диете из молока с хлебом. Рана на ноге начала гноиться. Русалка не хочет, чтобы я умирал — но что она может сделать?

Она даже перевязала мне ногу куском шторы. Грубо, но кровь остановилась. Сейчас нога ниже колена распухла и каждое движение причиняет боль.

Русалка не знает, что такое медикаменты и дезинфекция.

Кажется, я понял, почему она не трогает меня. Мифам и легендам нужна подпитка. Всем этим существам необходимо, чтобы кто-то в них верил. Люди для них — как антенны. Проводники. Передатчики. Они нуждаются в нас. Без нас они не могут существовать.

А может, им просто скучно каждый день видеть себе подобных. Может быть, люди вносят приятное разнообразие в их жизнь.

Я вижу людей в клетках, в вольерах, в загонах. Они сидят, тупо уставившись в пол, и едят хлеб с молоком, а русалки, баньши и лепреконы смотрят на них и жуют попкорн. Я представляю все это и тихонько хихикаю.

Вполне возможно, что и Лену она убила лишь потому, что не хотела, чтобы мы продолжили свой род. Антенны антеннами, разнообразие разнообразием, но популяцию надо контролировать. Может, у них есть что-то вроде плана, в котором указано, какой процент людей можно оставить в живых. Может быть.

А еще очень даже может быть, что русалка просто не ест человека и бережет меня для друга-упыря. Не знаю, правда, дружат ли русалки с упырями. Для того, чтобы узнать, надо встать и дотянуться до полки, где лежат мои словари. Но я не могу этого сделать сам и не знаю, как попросить русалку.

Русалка скрывается в коридоре.

Я тихонько напеваю песенку местного исполнителя.

Я думаю о том, что никто здесь не слышит, как я фальшивлю. Морщусь от боли. И пытаюсь улыбнуться.

АНАТОМИЯ, ИЛИ ТАК ЛЮБЯТ ПОЭТЫ

«Нет, ну не сука ли?» — в очередной раз спросил, непонятно к кому обращаясь, Егор Филиппович. Жалостливо всхлипнул. Выдохнул в морозную темень облачко пара. Поежился, безуспешно пытаясь втиснуть голову в плечи. Когда это у него, наконец, получилось, из-под куцега воротника наружу выскочил кадык.

Быстро шагая, немолодой уже мужчина прикидывал, сколько осталось до конца аллеи. До выхода из парка. Восемьдесят метров? Сто? Сто двадцать?

Парк ему не нравился. И дело было не в плохом освещении, не в ехидном морозце и даже не в царившем вокруг безлюдье, от которого на душе делалось еще морознее, чем в атмосфере. Нет. Просто все вокруг — хмурые изогнутые деревья, блики лунного света на замерзших лужах, глухой стук каблучков по асфальту — идеальнейшим образом гармонировало с царившим у него внутри одиночеством. И от этого синтеза, от этого совпадения делалось не по себе.

Порыв ледяного ветра заставил зашевелиться, затереться друг о друга ветви кленов. В статичном положении расчерчивавшие небо корявыми царапинами, под натиском стихии они принялись удало выплясывать, издавая при соприкосновении друг с другом мелкое трещоточное постукивание.

«Не гадина ли?» — снова послал он бессловестный импульс в пространство. Во Вселенную. Вселенная реагировать не торопилась. Тогда он утвердительно, с кивком, так же безмолвно ответил самому себе: «Конечно, гадина».

И тут же, усмехнувшись, добавил: «А я-то? Я-то сам — ну не идиот разве?»

Стремясь отвлечься от дурных мыслей, Егор Филиппович на ходу достал из лет двести как отвисшего и превратившегося в мешок кармана книгу. Остановился под кстати проплывавшим с правой стороны фонарем. Прочитал название на глянцево́й коричневой обложке.

«Анатомия человека. Учебник для медицинских училищ и колледжей».

Наугад раскрыл. Щурясь при желтоватом свете, ткнулся взглядом в таблицу. Несколько секунд поштудировав однообразные столбцы, натолкнулся на заключенные внутри одного несколько предложений, которые его заморозили. Была в этих наборах фраз какая-

то потусторонняя, мистическая сила, природу и назначения которой он понять не мог. Застывший в изумленном оцепенении, похожий, наверное, со стороны на восковую фигуру, он принялся перечитывать снова и снова:

«Название кости: малоберцовая. Место расположения точки окостенения: проксимальный эпифиз. Срок появления: от 2 до 6 лет. Срок сращения: от 17 до 25 лет».

Сухие, короткие предложения. Как непохожи они были на те нагромождения прилагательных, которые в течение почти всей жизни Егор Филиппович поглощал в необъятных количествах; которые он с тщательностью и прилежанием муравьеда, выхватывающего липким своим языком муравьишек из их жилища, слизывал с бесчисленных страниц.

Эти четыре предложения казались ему куда богаче в содержательном плане. Он перескакивал взглядом со столбца на столбец и не мог поверить, не мог понять — почему раньше он не натолкнулся на эти отрывки? Какой злой рок обрек его выискивать истину в прозе и поэзии, в то время как она — суровая и непреклонная — пряталась в учебниках по анатомии?

Он читал:

«Название кости: фаланга. Место расположения точки окостенения: эпифизы. Срок появления: от 5 до 7 месяцев. Срок сращения: от 14 до 21 года».

Еще один порыв взметнул полы его пальто, и он, на секунду превратившийся в жестоко-бытовую пародию на Дракулу, вдруг расхохотался. Словно порыв этот встряхнул царившую у него внутри затхлость, выбил какой-то неведомый клин.

Егор Филиппович смеялся до слез. До прикаркивающей хрипотцы. Смеялся — и в голове его крутилась одна-единственная мысль: «Дуролом ты несчастный! Кости — взростеют, а ты — нет!»

...Полгода назад наш герой устроился на новую работу. Описывать, что это была за работа, пожалуй, не имеет смысла — особенно учитывая тот факт, что работ за свою жизнь Егор Филиппович перепробовал-переменял несколько десятков. Едва ли смог бы он ответить, спроси вы — на каком месте и в должности кого он трудился этого же числа этого же месяца год назад. Однако здесь ему понравилось — чего он не ожидал от самого себя, уже привыкший к постоянным скачкам с одного места на другое и смирившийся с ролью «летуна».

Помимо новых обязанностей, полгода назад в его жизнь вторгся один новый человек. Женщина.

Звали ее Натальей. Отчество у нее, наверное, было, и Егор Филиппович даже, вполне возможно, слышал его — но как-то не удосужился запомнить. Отвечающий за память участок коры головного мозга сознательно не стал напрягаться, и, едва успев зафиксировать этот довесок к имени, тут же удалил его. Растворил в кровеносных сосудах, запустил в круговорот обмена веществ. Оно и правильно — разве можно любить человека и при этом называть его по отчеству?

Можно любить Наташу. Нату. Натусика. Наталью. Но Наталью, допустим, Викторовну — никогда! Такой ход мыслей казался Егору Филипповичу вполне логичным, и он даже представить не мог, что кто-то может считать по-другому.

В небольшой фирме с пафосным, словно выскочившим из безвкусных девяностых названием «Парфенон», Наталья занимала пост специалиста первой категории и в скором времени должна была стать старшим специалистом. В свои тридцать семь она была стройна, темноволоса, с маленьким вкраплением смуглости, в котором при желании можно было углядеть что-то загадочно-азиатское. Впитавший еще подростком вместе с первыми глотками портвейна есенинскую «Шагане ты моя, Шагане», Егор Филиппович, разумеется, принялся фанатично выискивать в ней эти самые азиатские черточки. Через месяц после знакомства в его воображении она рисовалась не иначе как восточной красавицей — при том, что и по фамилии, и вообще Наталья была женщиной русской. Тем не менее, этот образ проекцией наложил на живую, человеческую Наталью и не оставлял ей никаких шансов. Неспособная составить даже подобие конкуренции своей мифической сопернице, настоящая Наталья так и осталась для нашего героя загадкой...

Егор Филиппович не помнил, сколько он простоял на аллее, под фонарем, и наверняка простоял бы еще дольше — но неподвижное тело перестало вырабатывать энергию в должном количестве. Ноябрьский холод пробрался под пальто, оторвав от учебника и вернув в реальность — к замерзшим лужам, веткам клена и пробивающим плотный бархат неба искоркам звезд.

Вспомнив, что надо двигаться, мужчина развернулся и поставил свои ступни параллельно аллее, носками к выходу из парка. Уже приготовившись сделать первый шаг, он все-таки не удержался и еще раз заглянул в «Анатомию». Тень от головы падала на страницы. Егор Филиппович начал было щуриться, но тут же перестал, ахнув: ему показалось, что обрамленные четкими, лаконичными прямыми фразы вспыхнули слабым сиянием и даже словно приблизились к нему. Разумеется, такого быть не могло, но, поглощенный текстом, наш

герой не стал тратить время на попытки корявого и в данной ситуации абсолютно никому — уж ему-то точно — ненужного анализа.

«Название кости: лопатка. Место расположения точки окостенения: шейка лопатки, клювовидный отросток, акромион, медиальный край. Срок появления: от 1 до 19 лет. Срок сращения: от 3 до 21 года».

Несколько раз перечитав предложения, Егор Филиппович сунул книгу в карман. Шмыгнул носом и резко стартанул в сторону выхода, набирая скорость как заправский спортивный ходок. Как и у спортивного ходока, ему нужна была победа: над холодом. Как и спортивный ходок, он имел цель: расположенную далеко впереди, за несколькими изгибами аллеи, калитку. Пока еще невидимая, она маячила перед его мысленным взором.

Ветки клена снова принялись тереться друг от друга. Подгоняемый эти постукиванием-потрескиванием, Егор Филиппович быстро согрелся и вошел в нужный темп.

...Ему нравилось приходить на работу, держа в себе томительное ощущение, предчувствие встречи. Ставить тефалевый чайник, попутно перекидываясь ничего не значащими фразами с охранником. Прихлебывать кофе, рассматривая из окна неровные, сонные громадины домов через дорогу.

И когда, наконец, в мраморной тишине утра тонко скрипела дверь, и из коридора слышалось легкое постукивание ее каблучков, он на секунду весь внутренне сжимался. Не отдавая себе отчета, до близны в пальцах стискивал чашку.

Стоя лицом к окну, он слушал, как она открывает платяной шкаф — за стенкой, буквально в метре от него. Как с глухим стуком задевает за дверцу вешалка.

Появляясь через несколько секунд в кухне для персонала, она говорила:

— Привет.

Если в кухне присутствовал кто-то еще, она прибавляла к этому слову легкую, еле уловимую улыбку. Если помещение пустовало и лишь они двое находились в нем, такие живые и одновременно — неподвижно-безжизненные, похожие на новый элемент декора или оставленную кем-то офисную утварь непонятного назначения, ее улыбка становилась теплее, ощутимее. Вместе с губами улыбались ее глаза.

День проходил классически, в монотонном буднично-офисном режиме. Находясь на работе, Егор Филиппович начинал воспринимать время не как нечто продольное, бесконечно тянущееся от точки А к точке В, а, скорее, как что-то поперечное, или даже вообще как

окружность. Застрявший в состоянии бесконечной стагнации, он смаковал это безвременно, как гурман редкое блюдо. Больше всего ему нравилось подходить к Наталье с каким-нибудь якобы рабочим вопросом, и, задавая его, смотреть ей прямо в глаза, давно уже ставшие для него глазами персидской принцессы.

Была ли в этом взгляде привязанность — или хотя бы симпатия? Он не знал. Не видел. Ведь разве можно увидеть какие-то эмоции во взгляде Шахерезады? Разве можно считать хоть какую-то информацию с зрачков принцессы Хасмин? У шахерезад и принцесс — у них во взглядах сплошные загадки и недомолвки. Там, у них в глазах, не симпатии и привязанности, а омуты.

Так рассуждал Егор Филиппович.

Такой видел он Наталью изо дня в день.

Наверное, так продолжалось бы еще долго, если бы не стажировка...

Прошагав около ста метров, Егор Филиппович понял, что заблудился. Это было странно, до жути нереально — но факт оставался фактом: дорога, по которой он ходил каждый день после работы, сегодня отказывалась выводить его к конечному своему пункту — станции метро. Что послужило тому причиной, бытие ли дало трещину, сошлись ли в одной точке измерения — или это сам он, задумавшись, свернул куда-то совсем уж не туда? Егор Филиппович не знал. Каких-то пару минут назад он стоял под знакомым фонарем, листал «Анатомию» — и вдруг оказался в этом месте.

Под ногами тот же асфальт, но все, что слева и справа — чуждо и незнакомо. С обеих сторон над аллеей нависают черные, непонятной породы деревья. Неужто дубы? О том, что где-то в этом парке растут дубы, он даже не подозревал. Видимо, забрел в какую-то часть, о существовании которой не знал.

Ненадолго Егор Филиппович почувствовал себя одинокой, чужеродной частицей организма, который являл собой парк. Мир враждебно надвинулся на него, сверху звезды жутко хохотнули. Но, встряхнувшись, наш герой привел себя в норму. Замедлившись было, он снова ускорил шаг.

Надо идти прямо. И тогда, по всей логике, рано или поздно куда-нибудь выйдешь.

Шагая по дорожке, он снова и снова в бесчисленных вариациях прокручивал одну и ту же мысль:

«Кость появляется в организме ребенка, растет — и, в конечном счете, костенеет. То есть она доходит до какой-то точки, после которой перестает быть инертной и становится статичной».

Далеко впереди в кустах боярышника раздался хруст. Увлеченный, вновь уведенный от реальности своей мыслью, Егор Филиппович не услышал его.

Он шел и думал:

«Почему же ты не способен на то, что может сделать даже глупая кость? Почему ты продолжаешь снова и снова, из года в год, наступать на одни и те же грабли?»

Он думал:

«Когда же ты, наконец, перестанешь быть инертным и станешь статичным?»

Он думал:

«Когда же ты, наконец, повзрослеешь?»

В пятнадцати метрах перед ним из кустов на аллею шагнули две темные фигуры. Сделали каждая по два шага и остановились, неподвижные и молчаливые — словно они были составными элементами этой ночи, такими же неотъемлемыми, как лавки с проломленными спинками и похожие на уродливых черных карликов урны.

Когда Егор Филиппович прекратил шевелить губами, оторвал взгляд от асфальта и, наконец, заметил их, было уже слишком поздно.

Поздно бежать.

Поздно прятаться.

Поздно вообще что-то делать.

Когда он увидел их, не дававшее ему весь вечер покоя чувство тоски и одиночества переросло в железную, почему-то даже немного успокаивающую убежденность.

«Сейчас что-то произойдет», — понял он. Остановился, зябко поеживаясь, не доходя до теней пару метров. Кивнул — не то приветствуя их, не то соглашаясь с чем-то или кем-то внутри себя.

...Стажировка.

Ему необходимо было сдать небольшой экзамен, чтобы перейти на ступень выше. Превратиться из специалиста второй категории — в специалиста первой. И Наталья вызвалась помогать.

Разумеется, он воспринял это как проявление симпатии с ее стороны. Человек он был уже взрослый, и на любовь не рассчитывал. Но того факта, что эта женщина решила помочь ему; что она в ущерб своему личному времени часами сидела с ним в кабинете, порой задерживаясь после закрытия, когда в помещениях гасли лампы и звуки машин с улицы разносились по пустым коридорам — уже этого было достаточно. Есть симпатия — и хорошо.

Они сидели по разные стороны стола. Она задавала ему вопросы по технологиям продаж, по корпоративной этике. Он, улыбаясь,

отвечал, не стесняясь своего невежества, не пытаясь придумать ответ, если не знал его.

А потом оказалось, что никакой симпатии с ее стороны не было.

Оказалось, она помогала ему только потому, что директор сказал ей:

— Подтяни этого человека. И от того, пройдет ли он стажировку, будет зависеть, станешь ли ты старшим специалистом.

Оказалось, что директор сказал:

— Если хочешь быть руководителем, научись брать на себя ответственность за других.

Директор сказал:

— Егор Филиппович — твой будущий подчиненный. Вот и покажи мне, можешь ли ты быть хорошим руководителем. Хорошим наставником.

И она доказала.

Стажировку он прошел.

О том, что вся эта помощь была не ее инициативой, не проявлением ее симпатии, а лишь следованием указанию свыше, он догадался сам. Улавливая обрывки фраз на работе. Компилируя эти обрывки, как ему заблагорассудится. Додумывая.

И тогда он понял, что обманулся. Что последняя его попытка проникнуться человеком не возымела успеха.

Стоя по утрам у окна с чашкой горячего кофе, он тупо пялился в окно. Ловил сетчаткой блики фар проезжающих мимо машин. Смотрел, как семят вдоль дороги уставшие, скукожившиеся пассажиры. И никого уже никого не ждал.

Мысли о том, что Наталья изначально не проявляла к нему никакой симпатии; что во всех ее улыбках, во всех взглядах мелькали лишь дружелюбие и вежливость — все эти мысли иногда посещали его. Осознание того, что никакой симпатии не было, что за симпатию он принимал лишь вежливость, убивало его. Мужчину-ребенка...

«Но ведь я любил ее так, как любят поэты — разве нет?» — думал он, разглядывая высокие сутулые тени. И этим утверждением словно хотел перед кем-то оправдаться.

...Учебник по анатомии попался ему случайно — и в этом уже было что-то сверхъестественное. В том, что, уходя с работы последним, Егор Филиппович заприметил лежащую на краешке стола коричневую книгу.

Учебник пребывал в компании дырокола и корректора-замазки. Только эта компания его, судя по всему, не устраивала. Филипп

Егорович шестым чувством, каким-то костномозговым разумением угадал — учебнику здесь одиноко.

За окном проехала машина. Свет от фар мазнул желтую офисную стену, пробежался по белым остовам компьютеров и блеснул на коричневом глянце. В этом блике Егор Филиппович увидел отчаянный призыв, крик о помощи. Даже слова «блик» и «крик» рифмуются. Не раздумывая больше ни секунды, он схватил учебник и выскочил из офиса.

Второй раз в жизни — с тех пор, как в детском саду отнял у мальчика из младшей группы водяной пистолет — он без разрешения взял чужую вещь...

Егор Филиппович стоял перед теньями и не знал, что делать.

Поздороваться — наверное, глупо.

Развернуться и бежать — бессмысленно. Он и в юности-то хорошим спортсменом не был, а сейчас, не успеет проковылять по обледенелым лужам и пяти метров, как его догонят. Схватят за воротник и дернут назад. Он даже почти услышал треск рвущейся материи и почти ощутил затылком тупой удар об асфальт.

Они не заговорили. Не стали спрашивать, который час. Не попросили мелочь. Не было и залихватски-угрожающего, хрестоматийного: «Сigaretки не найдется?»

Что-то сверкнуло в темноте, и на секунду Егор Филиппович подумал о книге. О том, как блеснула в темноте ее обложка. А через двадцать минут его труп лежал в кустах, из которых совсем недавно появились сутулые тени. В самой середине было вытоптано что-то вроде полянки. Остекленевшие глаза, казалось, с удивлением взирали на лежащий сантиметрах в пяти от лица кусок скомканной газеты, перемазанным чем-то коричневым. На россыпь осколков, мятые сигаретные пачки и использованные презервативы. На пустые шприцы. На ноги в грязных ботинках. Заляпаные кровью уши будто внимали падающим сверху словам, которые, опускаясь на холодную почву, сплетались в обрывистые фразы.

— Почечная... общая печеночная...

Шелест страниц.

— Аааа... прикинь, мы ему, походу, нижнюю брыжеечную ветвь аорты пробили...

Пауза. Снова шелест.

— Или срединную крестцовую...

Другой голос:

— Откуда знаешь? Ты чего, ..., анатом?

Голос рассмеялся. Короткий лающий звук просочился между ломких ветвей, еле-еле дотянул до ближайших деревьев и сошел на нет.

Теплая струя ударила в лицо Егора Филипповича, затекая через полуоткрытые губы в рот; брызги повисли росяными капельками на волосах, нарисовали коротенькие, почти слезливые дорожки рядом с глазами.

— Зашибинись, — раздался голос сверху. — Теперь перепончатая часть моего мочепускательного канала чувствует себя гораздо лучше.

Глухое, почти утробное: «Гыгы...»

Потом:

— Прикольная книжка.

Захрустели кусты. Тени удалились вместе с учебником.

Где-то высоко-высоко двинулась с места туча. Лунный свет залил парк призрачным серебром.

Тело Егора Филипповича лежало в позе эмбриона. Свернулся он сам или в такой позе его бросили тени — выяснять это теперь было бессмысленно.

В нескольких километрах, свернувшись калачиком, заснула в своей постели Наталья.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Древние полагали, что сумерки — это трещина, разрыв между мирами. Позже об этом писал Кастанеда. Я почти не читал Кастанеду, но согласен и с ним, и с древними. Им, наверное, видней.

Особенно сильно я ощущаю этот разрыв в деревне. Зимой. В воздухе пахнет чем-то свежим и настолько непонятным городскому жителю, что мы уже не можем вспомнить этот запах, хотя когда-то, наверное, хорошо знали его и чувствовали всем телом. В те далекие пещерные времена в нас еще жило что-то дикое. Мы были вольными, мазали кровью лица и в сумерках плясали вокруг костров. Теперь от пьянящего восторга осталось только воспоминание, слабое и далекое. Оно еще живо в нас; наши правнуки, скорее всего, перестанут чувствовать и его.

Я стараюсь закончить работу пораньше, чтобы полюбоваться закатом. Небо все грязно-серое, на востоке оно уже почти почернело, а запад алеет и переливается всеми оттенками красного, как угли в жаровне. Я в детстве пытался писать рассказы в жанре фэнтези. Один из моих героев слышал легенду о том, будто в закатный час людям становятся видны огни преисподней. Красивая и страшная легенда, пусть даже я сам ее и сочинил.

Я живу с бабушкой — очень подвижной и беспокойной, несмотря на свои семьдесят. За жизнь она сменила нескольких мужей, все они были пьяницами. Первый бросил совсем еще молодую бабушку, оставив ее с четырьмя маленькими детьми — моей матерью, двумя ее братьями и старшей сестрой. Дети выросли сильными и терпеливыми. Мать, закончив школу, поступила в институт и стала учителем химии. Я еще не видел такого человека — именно человека, с живой страдающей душой. Тетка двадцать лет проработала в пункте телефонных переговоров, а после того, как ей исполнилось пятьдесят, решила попробовать себя в сетевом маркетинге, чем с успехом и занимается. Один из дядек уехал на север, где занялся охотничьим промыслом. Когда я был маленьким, он часто присылал нам посылки с клюквой и кедровыми орехами, а один раз подарил маме настоящие олени рога. Рога висели над зеркалом до тех пор, пока их не разбил пьяный отец. Мама тогда долго плакала, а потом сломала что-то из отцовых вещей. Она была всего лишь женщиной, пусть и очень сильной, и мне кажется, отец всегда ощущал ее превосходство, хоть он и был рожден в год тигра, а мама — в год кролика. Я родился в год собаки. Говорят, что люди, рожденные в этот год,

выше всего чтят справедливость, хотя со стороны могут показаться равнодушными и заносчивыми. Своя доля правды в этом есть. Тем не менее, я считаю, что лучшие качества унаследовал от матери.

Больше всех я любил дядю Петю — самого младшего. На всю жизнь запомню его вечно веселым, все время переводящим наши с ним разговоры на одну и ту же тему. Лукаво подмигнув мне, он тихим и чуть сирым голосом (таким голосом мог бы говорить кот Базилио, только не мультяшный, а такой, каким он должен быть на самом деле) спрашивал: «Ну а девчонка у тебя есть?» Я любил дядю Петю за то, что он любил пиво и обязательно привозил с собой в деревню ящик-другой, а еще за то, что с ним всегда было можно поговорить по душам. Хотя говорить по душам я, наверное, не научился до сих пор.

Все дети бабушки были схожи только в одном — никому из них не повезло в браке. Моя мать развелась с отцом, когда мне было восемь лет. Я никогда из-за этого не переживал. Шесть лет спустя отца убили в пьяной драке, и мне тоже не было жалко. Помню, один раз я закутался в одеяло и попытался плакать, бормоча при этом слово «папка» и еще какую-то глупость. Ничего не вышло. Это отсутствие жалости к погибшему отцу долго пугало меня, однако позже я пришел ко мнению, что отсутствие чувств — все же лучше, чем их сочинение.

Вот уже несколько лет моя бабушка живет одна, только я или кто-нибудь из родни изредка навещает ее. Когда кто-то живет в доме бабушки, она ни минуты не сидит на месте, все старается угодить, сделать наше проживание как можно более комфортным. Иногда мне кажется, что она очень боится того момента, когда мы все уедем и ей придется остаться одной в пустом доме. Еще мне кажется, что привычка служить и ухаживать, не искоренившаяся в ней за те пять лет, что она живет одна, никогда уже не исчезнет.

Как и все деревенские люди, моя бабушка встает очень рано. Она осторожно ступает по холодным скрипучим половицам. Иногда я просыпаюсь вместе с ней и тихо лежу с закрытыми глазами. Из-за того, что мои глаза закрыты, я никогда не вижу бабушку, но мне почему-то все время кажется, что она, боясь разбудить меня, ходит на цыпочках. От таких мыслей становится весело (маленькая бабушка как сказочный гном пробирается ко входной двери а за спиной у нее маленький мешок в котором что-то тихо позвякивает). Я лежу в темноте и улыбаюсь. Я люблю свою бабушку — такую светливую и чувствительную. Иногда она может в сердцах тяжело выругаться или швырнуть что-нибудь об пол. Но я знаю — это она не со зла.

И еще я люблю свою бабушку за то, что она уважительно относится к моим воспоминаниям. Она никогда не лезет в душу, скорее всего, потому, что никогда не умела этого делать.

Я еще молодой, но у меня уже есть в запасе парочка воспоминаний. Кое-что, о чем стоит поразмыслить и сделать выводы. Только я никогда не размышляю во время сумерек.

Сумерками надо любоваться. А подумать можно потом. У меня на это есть целый день.

В детстве я очень любил игры на один сюжет. Его мне подсказала прочитанная во втором классе книга, называлась она «День триффидов». Это был фантастический роман. В нем рассказывалось о том, как люди, ослепшие и лишённые своей власти над миром, пытались противостоять вышедшим из-под контроля растениям-убийцам. Не помню, какой выход из сложившейся ситуации нашли люди (среди которых оказалась-таки парочка зрячих). Может, они его так и не отыскивали. Важно не это.

Меня пленяла сама атмосфера книги — атмосфера конца света. Для меня это означало полную свободу действий. Герои книги могли перемещаться в любом направлении, заходить куда хотели и брать что угодно. Я представлял себе, как вхожу в центральный универмаг, беру там самый лучший велосипед и еду на нем в другой конец города, в охотничий магазин — затариваться по самое не хочу оружием и боеприпасами. По дороге я встречал людей — своих будущих спутников. Среди них обязательно оказывалась симпатичная девушка, часто похожая на одну из моих одноклассниц или просто знакомых. Думаю, не стоит упоминать, что девушка была красавицей.

Мы вчетвером (или впятером, максимум — ввосемьмером) поселились на какой-нибудь заброшенной ферме. Там мы отражали нападения растений-убийц, которые со временем превратились в животных-убийц, были даже люди-мутанты, передвигающиеся молча, нападающие по ночам и дико пугающие девушку, которая пряталась за моей спиной. Я же, вооруженный дробовиком или обрезом, уничтожал злобную тварь, заслуживая со стороны красавицы всевозможных благодарностей и поощрений. Чем старше я становился, тем продуманней делались мои игры. В них стала появляться психологическая линия (так и тянет после этой фразы поставить смайлик): я ссорился с другими героями (чаще всего — с девушками, внешность которых постоянно менялась), убегал с фермы, странствовал по опустошенному миру один.

Я говорю — «игры», но это были, скорее, фантазии. Все действия происходили в моем воображении. Если бы кто-то посмотрел

на меня со стороны, то увидел бы, что я просто стою на месте или расхаживаю, оживленно размахивая руками.

Играть я мог в любом месте, которое гарантировало бы мне одиночество и изоляцию от глаз окружающих. Однажды я увлекся игрой в кабинете химии, где преподавала моя мама, вернее, не в самом кабинете, а в лаборантской — небольшом узком помещении с искусственной вытяжкой и старыми коричневыми шкафами, полными склянок. Класс мамы в это время занимался уборкой кабинета и один из учеников заглянул в лаборантскую. На секунду. И вылетел оттуда с хохотом. Конечно, он тут же рассказал об увиденном одноклассникам. Мама все слышала, но подумала, что ученик увидел один из моих нервных тиков, которые начались годом раньше. То были подергивания шеи или века. Я знаю, мама плакала потом — я слышал, как она рассказывала об этом подруге.

Однако не стоит думать, что я все время жил в своем замкнутом мирке. У меня были друзья — люди из плоти и крови.

Об одном из них я вспоминаю чаще всего. Это был темноволосый подвижный парень с веснушками на лице. Мы учились вместе с одиннадцати лет и до конца школы. И мы были забавной парочкой. Оба странноватые (впрочем, каждый хочет видеть себя в детстве странноватым и особенным). Не могу сказать, что мы были закадычными друзьями, но нас объединяли интересы. Книжки, музыка, фильмы.

И еще мы очень любили посмеяться. Над учителями, над одноклассниками, над чем угодно. Фантазия у нас была очень богатая.

В седьмом классе к нам привели новенького. У парня, в отличие от нас, с чувством юмора были проблемы. Часто наши классные хулиганы били его, только не из-за отсутствия чувства юмора. Просто он был безобидным и рассеянным. Мы иногда заступались за него. На словах. В драку из-за него никто из нас не полез бы.

Так вот, мы и над этим новеньким смеялись. Над его шутками. И мы обожали черный юмор. Всякие кровавые стишки с веселым финалом. Это аморальные стихи, но есть в них что-то такое, от чего в глубине тебя рождается хохот, кипит и выплескивается. Чувство, чем-то напоминающее прыжок с высоты (вот это, наверное, очень интересно — никогда во сне я не летал, по крайней мере, не помню такого, зато часто падал в пропасть).

* * *

Хорошо идти по дороге вечером, когда ветерок ласкает лицо. День успокаивается потихоньку. Свет тускнеет, звуки затихают.

Вот так и мы шли однажды. Людей на пути попадалось все меньше. Солнце закатывалось за край света. Роца вокруг дороги

делалась тихой и загадочной. В придорожной канаве росли лопухи. Иногда мы пинали в канаву какой-нибудь камень или ветку с дороги, и эти лопухи шуршали, как будто возмущаясь.

Тогда друг и рассказал мне свою историю.

По его словам, началось все лет пять назад. В ту пору у него умерла мама. Я знал, что у нее был рак. Еще я слышал, что врачи говорили, будто к моменту смерти болезнь поразила добрую половину органов (вернее будет сказать — злую половину) и все удивлялось — каким образом она вообще продержалась так долго?

У мальчишки появились проблемы со сном. По ночам он все ворочался, то кутаясь в одеяло, то сбрасывая его, глядя то на стены, то в потолок. Если же и удавалось заснуть, то он непременно видел маму. Иногда мой друг просыпался весь в слезах, иногда — дрожа от страха. Потому что сны были разные, и порой он видел всякую гадость. Так продолжалось с полгода. А потом сны прекратились, и на замену им пришли пророчества. Вернее, он сам это так называл. Вначале он, как это часто бывает, не придавал им значения. Ему снились авиакатастрофы и наводнения, уносящие сотни человеческих жизней. Единственное, что поначалу удивляло моего друга — это ужасающие подробности всех несчастных случаев. Он видел мельчайшие детали: дымящиеся обломки, оторванные конечности, спутанные провода, сыпавшие искрами, блестящие осколки стекла. И он ощущал страх. Просыпался после таких снов в холодном поту среди ночи и долго не мог заснуть.

Сны повторялись регулярно, и ни один не был похож на предыдущий. Их объединяло лишь одно: всегда смерть, всегда боль. И каждый раз, просыпаясь, он чувствовал, что подушка вся в поту.

Постепенно мой приятель стал приходить к выводу, что видит реальные катастрофы, произошедшие где-то далеко отсюда. В открытую он мне об этом не сказал, вернее, сказал, но как-то так, что и сам, дескать не очень в это верит. Просто то, что с ним тогда происходило, по его словам, было очень похоже на некоторые фильмы и книги. Он говорил с усмешкой, но я видел по глазам, что для него все это очень серьезно.

Потом мы шли какое-то время молча. Я чувствовал, что для него это очень важный разговор, но не знал, что сказать. И молчал. Он тоже молчал. А потом (мы к этому времени уже почти дошли до нашей цели — домиков летнего лагеря) заговорил как ни в чем не бывало на какую-то отвлеченную тему. Кажется, он меня о чем-то спросил. И я ни тогда, ни после не задал ему одного вопроса: снится ли ему что-то сейчас? Но, по-моему, я знаю ответ — я ведь видел в тот момент его лицо.

Мы проучились вместе до окончания школы. Потом я поступил в педагогический, а он уехал пытаться счастья в Петербург. Несколько раз он приезжал на каникулы. Мы даже виделись, но в нас обоих что-то уже изменилось. Мы пытались найти тему для разговора, говорили о музыке, обо всяких забавных случаях, что произошли с нами, но при этом я ощущал какую-то скованность. Думаю, он тоже.

А потом его не стало. Просто пришла домой заплаканная мать и сказала, что из Питера прислали телеграмму. Я не хочу рассказывать о его смерти. Он умирал долго и страшно. Хорошо помню скрипучие половицы, заплаканных родственников и фотографию на столе. Помню, что очень боялся выронить урну с его прахом, пока нес до автобуса. Еще помню, как кто-то сказал: «Ну вот ты и донес друга до могилки».

Я не был убит горем, во всяком случае, я не плакал. И не ворочался по ночам, пытаясь заснуть. Но это, наверное, не так уж и важно. Важно вот что: после таких событий каждый должен сделать для себя вывод. Я не сделал вывода ни тогда, ни сейчас. Только осталось что-то внутри — как аппендикс или непонятная новая клетка. Что-то на инстинктивном уровне. Рефлекс вроде собаки Павлова.

Напоследок скажу кое-что. Наверное, я должен это сказать. И если сказанное прозвучит пошло и избито — отвечать мне одному. «Спокойной ночи, маленький предсказатель».

ММЖ (Мутанты в Моей Жизни)

Последним людям посвящается...

Каждое утро Сережа просыпался и лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в пение птиц. Переливистое, тревожное, оно помогало настроиться на предстоящий день. Помогало приготовиться. Предупреждало о том, что ждет снаружи.

Не открывая глаз, придерживая руками одеяло, Сережа садился в постели. Если бы кто-то посмотрел него в этот момент, то, скорее всего, нашел бы его похожим на диковинную куколку. Или на личинку какого-нибудь гигантского, неведомого науке насекомого.

Сидя на кровати, он считал от ста до единицы в обратном порядке. Под счет «один» осторожно открывал глаза. Пристально изучал комнату. Цепким взглядом ощупывал каждую деталь обстановки. Сережа боялся, что, пока он спал, в комнате что-то могло измениться.

Первым досмотру подвергался ковер. Красно-коричневый, с абстрактными узорами, он занимал всю противоположную стену. В центре располагалась геометрическая фигура неопределенных очертаний, похожая на несколько наложенных друг на друга треугольников. Только стороны треугольников были не прямыми, а чуть выгнутыми — словно фигуру распирало изнутри; словно в ней таилась какая-то непонятная энергия. Казалось, заключенная внутри, ограниченная рамками, она рвалась наружу, но, не находя выхода, циркулировала по фигуре, металась в ней, как тигр в клетке. Как мечется петарда в жестяной бочке.

Сережа принимался считать стороны треугольников. Каждое утро их насчитывалось ровно двенадцать. Рациональное Сережино начало прекрасно осознавало, что по-другому и быть не может. Куда могут подеваться неживые, вышитые кем-то грани? Но какое-то другое, иррациональное начало панически боялось, что однажды граней окажется не двенадцать, а, скажем, девять. Или шесть. И оттого, что граней всегда было ровно двенадцать, иррациональное начало успокаивалось, и юноша знал, что оно будет пребывать в таком состоянии до тех пор, пока он не выйдет из дома.

Осмотрев ковер, он с такой же дотошностью принимался за изучение стола и всего, что на нем было. Непременно надо было убедиться, что все — стаканчик с карандашами и ручками, положенная на угол перед сном книжка, монитор, клавиатура и мышь —

находится на тех же местах, что и вечером. И каждый раз предметы оказывались там, где и должны были быть.

Сосредоточенно, не упуская ни единой детали, Сережа оглядывал комнату — так, словно оказался в ней впервые. Словно вчера не засыпал в ней. Словно не просыпался в ней уже который год подряд.

Нужно было убедиться, что тапочки стоят у изножья кровати, почти параллельно друг другу, но носками чуть в стороны; что между двумя шторами существует проем в десять-двенадцать сантиметров; что дверь в комнату чуть приоткрыта; что все дверцы шкафа, наоборот, плотно-плотно закрыты; что на старом кресле с протертыми ручками лежат джинсы и рубашка; что из-под шкафа выглядывает, поблескивая полированной поверхностью, кусок фанеры.

Лишь удостоверившись в том, что за ночь ничего не изменилось, Сережа слезал с кровати и шлепал в ванную. По мере того, как он плескал на лицо и плечи ледяную воду, его состояние от настороженно-выжидающего переходило в умиротворенно-расслабленное.

К тому моменту, когда он садился за стол и почти целиком отправлял в рот наспех сляпанный холостяцкий бутербродик, в душе его царил почти буддийское спокойствие. Это спокойствие духа, эта расслабленность были необходимы ему с утра, как глоток свежего воздуха. Они были необходимы ему так же, как некоторым после бурной ночи необходимы сто грамм. Не почувствовав этого спокойствия, этой расслабленности, Сережа ни за что не вышел бы на улицу.

Одеваясь, он фальшиво насвистывал какую-нибудь — любую — мелодию. Фальшь была не в интонации, не в мотиве. Фальшь сквозила в нарочитой веселости, которую он пытался изобразить. Веселости, в которой он пытался убедить зеркало, телефон, вешалку, а, главное — самого себя. «Вот видите, — казалось, высвистывал он. — Все у меня в порядке. Я готов к бою. К новому дню. И ничто не в силах сбить мой настрой. Ничто и никто не в силах выбить меня из колеи».

Он заискивающе смотрел на зеркало. На телефон. На вешалку. Знал, что они не верят ему. И не верил себе сам. Но марку держал. Бодро улыбаясь, шагал из коридора на лестничную клетку.

Когда он этим утром вышел на улицу, все было как обычно. Направляясь к остановке, он вдыхал запах талого снега вперемешку с выхлопными газами. Слушал протяжное нытье троллейбусов. Щурился, пытаясь защитить глаза от настырных мартовских лучей.

По дороге на работу — он всегда ходил пешком, благо работа была в паре остановок от дома — он успел выкурить три сигареты. В следующий раз он сможет покурить только в обеденный перерыв.

По мере приближения к офису Сережино сердце колотилось все чаще. Иррациональное начало снова давало о себе знать. И Сережа понимал, что успокоить его не получится. Что не помогут никакие насвистывания и бутерброды. И холодная вода тоже не поможет. То есть воды-то, конечно, и нет. Но даже если взять пригоршню снега и натереть лицо, толку от этого все равно не будет никакого. Поэтому он просто шагал. Молча. Насупившись. Уперев взгляд в петляющую под ногами тропинку.

Первый мутант встретил его на выходе из комнаты для персонала.

Мутант сидел на корточках и издавал тоненький, едва уловимый писк. Но Сережа имел дело с мутантами уже не первый день и знал, что обманываться тут не стоит. Что сейчас писк перейдет в натужные стоны, а еще секунд через двадцать — в пронзительный вой. Так и произошло.

Кожа мутанта была бледно-розовой, кое-где — особенно на запястьях и шее — проступали голубые прожилки. Из безволосой макушки к потолку тянулись два коричневых отростка, на каждом из которых располагалось по глазу. Глаза недружелюбно смотрели на Сережу. Тупость мешалась в них с жестокостью.

С мутантами этого вида юноша сталкивался регулярно. Поэтому и не растерялся, с ходу саданув ему по розовой башке кстати подвернувшимся под руку пресс-папье. Из лысины мутанта брызнула кровь. Мутант отпрянул назад, оценивая обстановку. Провел лапой по щеке, размазывая кровь. Видимо, решив, что с Сережей связываться не стоит, развернулся и рванул по проходу между одинаковых столиков, поскуливая на ходу от боли.

«Хлюпик попался, — усмехнулся Сережа. — Крику больше, чем дела».

Начало дня ему нравилось. Если так же резво получится отбиваться от остальных, можно будет вечером обойтись без снотворного.

До обеда ему довелось схватиться еще с парой таких же мутантов-хлопиков. Как и в первом случае, выродки бежали. Одному он заехал ногой под дых. Второго пришлось пару раз приложить об стену.

Приободренный этими победами, Сережа вошел в курилку уверенной походкой любимчика судьбы. Глаза его светились, а из сло-

женных трубочкой губ вылетало бодрое посвистывание. В отличие от утра, теперь ни о какой наигранности, тем более — фальши — не могло быть и речи.

— Приветы! — кинул ему с диванчика коллега.

Коллегу звали, кажется, Славой.

Оглядев Сережу с ног до головы, Кажетсыслава улыбнулся и с хитрым прищуром заметил:

— Живчиком смотришься. Никак, с самого утра хорошие продажи?

Сережа не стал объяснять, что дело не в продажах. Что продажи — пшик и суета. Что главным мужским занятием во все времена была война. И что сегодня ему как воину можно смело вручить медаль и выделить парочку белокурых дев. Три мутанта за утро, а на нем ни царапины — видано ли это где?

Рядом с Кажетсыславой сидел мутант. Он тоже курил. При взгляде на него всю Сережину бодрость как рукой сняло. Он понял, что сейчас снова придется драться. И что на этот раз легкой победы не предвидится.

Сережа понял, что мутант изучал его с того самого момента, как он вошел. Подернутые бледной пленкой глаза бешено вращались, сантиметр за сантиметром ощупывая Сережино тело. Оценивая его.

Сережа приготовился было принять стойку, но мутант прямо с дивана прыгнул на него. Этот был крупнее остальных. Гораздо крупнее. И куда опытнее.

Кажетсы, они уже сталкивались раньше. На утренних ритуалах, в ходе которых все сотрудники должны были огласить свои планы на неделю. Разделенные черной поверхностью стола, они с мутантом иногда плевались друг в друга тонкими струйками желчи. Но до открытой конфронтации не доходило. До этого дня.

Удар был такой силы, что Сережа, стремясь сохранить равновесие, сделал несколько шагов назад. Метрах в двух за спиной была стенка, к которой мутант и припер его. Из разинутой пасти Сереже в лицо пахнуло гнильем. Судя по всему, мутант относился к семейству трупоедов. Сережа взглянул через плечо мутанта на Кажетсыславу, взглядом умоляя о помощи. Тот опустил глаза и, сосредоточенно выпуская через ноздри струйки дыма, делал вид, что ничего не происходит.

Кажетсыслава мутантом не был. Но, в отличие от Сережи, у Кажетсыславы вроде были жена и дочь. Мужик Кажетсыслава был, похоже, неплохой — но не настолько, чтобы вот так запросто связываться с мутантом. Да еще и не просто с мутантом — а с трупоедом.

Поняв, что на помощь рассчитывать не придется, Сережа прибег к испытанному, годами проверенному способу — впился зубами в

ухо противника. Он больше не был благородным, величественным бойцом. Теперь речь шла о выживании.

Мутант взвизгнул и ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, Сережа уперся спиной в стену и ударил трупоеда ногой в живот. Трупоед чуть согнулся и сделал несколько шагов назад, но практически сразу кинулся обратно. Между зубов мелькнул раздвоенный зеленый язык.

Сережа знал: стоит языку коснуться незащищенного участка кожи — и сразу же наступит оцепенение. Тело станет твердым, как кусок замороженной свинины. После этого враг сможет делать с ним все что угодно. Этого нельзя было допустить. Ни в коем случае.

И тогда Сережа решился на то, на что решался очень редко.

Он на секунду зажмурился, потом раскрыл глаза и выплюнул прямо в глаза трупоеду длинную вязкую струю. Трупоед завизжал еще сильнее, чем до этого. Теперь в визге слышалось отчаяние побежденного.

Ослепленный, униженный, трупоед выбежал из курилки, чуть не сбив на ходу заходившую внутрь секретаршу.

Сережа присел на корточки. Он тяжело дышал. На лбу выступили бисеринки пота. Он снова победил.

Он не любил этого. Не любил плевать желчью. Потому что, когда плевался, сам делался похожим на мутанта. И это его всегда пугало.

— Молодец, Серега, — пытаясь изобразить в голосе бодрость, выдал Кажетяслава. Но потом все-таки не выдержал и добавил: — Только ведь сам знаешь, бесполезно все это. И все эти твои войны с мутантами ни к чему хорошему не приведут.

Сережа знал.

Словно в подтверждение Кажетяславиных слов, над ухом раздался голос секретарши:

— Сергей Николаевич, вас директор вызывает.

В кабинете директора было темно и тихо.

— Как работаете? — задал дежурный вопрос директор.

— Спасибо, хорошо, — выдал Сережа дежурный ответ. Бодро, насколько мог.

Они говорили минут десять. Как всегда, ни о чем. То есть, теоретически, эти слова несли в себе некую информацию, но оба — и начальник, и подчиненный — прекрасно понимали, что они являются всего лишь фоном. Необходимой прелюдией. Когда она, наконец, закончилась, директор добродушно буркнул:

— Ну, а теперь приступим.

Сереза был у директора сотни раз, но никак не мог привыкнуть к тому, что должно было сейчас произойти.

Он подошел к столу директора и лег на него верхней частью туловища. Ноги остались стоять на паласе. Рядом с Серезиной головой лежал черный мобильный телефон.

Сереза слышал, как директор подходит к нему сзади, отработанным движением стягивает с него брюки. Задирает рубашку. Сереза почувствовал, как ему на спину капает липкая слюна. Как по комнате расходится жуткое зловоние, в сравнении с которым вонь из пасти трупоеда могла показаться пятой «Шанелью».

— Александр Михалыч, вы только поаккуратнее... — это было последним, что успел произнести Сереза. Затем его тело принялось содрогаться от толчков. В такие моменты Сереза всегда смотрел на себя как бы со стороны. И каждый раз не мог понять — то ли трясется его тело, то ли содрогается в конвульсиях душа.

Достигнув пика наслаждения, Король трупоедов за его спиной издал восторженное кваканье.

На столе, рядом с Серезиной головой, завибрировал мобильник. Сквозь слезы он успел прочитать на дисплее:

— «Доченька звонит. Ответить?»

Перед тем, как лечь спать, Сереза несколько часов сосредоточенно печатал. Тишину комнаты нарушало лишь постукивание клавиш. Когда глаза начали слипаться, он «сохранил внесенные изменения» и закрыл документ. Документ назывался: «Мутанты в Моей Жизни». Он содержал подробную классификацию мутантов. В нем были указаны все виды и способы борьбы с ними.

Садясь на кровать, Сереза поморщился от боли.

«Когда-нибудь кому-нибудь это пригодится, — в очередной раз подумал он. — Не может не пригодиться».

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Он всегда стеснялся своей наготы. Хотя, вроде бы, стесняться ему было нечего.

Туловище представляло собой вытянутую трапецию — то есть, было той формы, которая (по крайней мере, теоретически) привлекает женщин. Телосложение ближе к эктаморфному — худощавому то есть — но кость широкая. Мышцы, благодаря более-менее регулярным физическим нагрузкам, пусть и не поражали своими размерами, но, скажем так, просматривались.

Член — больше среднего. Первая подруга, с которой довелось почувствовать себя мужчиной, поначалу восхищалась его размерами, а потом — когда он начал чувствовать к ней некое подобие душевной привязанности — принялась говорить, что ей больно. Так и заявила:

— После тебя моя кисуля болит. Ты поосторожнее, что ли.

Может, надеялась вызвать таким образом чувство вины? Мужиком, который ощущает вину, легче управлять. В любом случае, от следующих жалоб он не слышал. Он успокоился. Но стеснительность никуда не делась, напоминая о себе в самый неподходящий момент. Была она и сейчас, несмотря на крошечную темноту, на выпитые пиво и водку.

Кровать примыкала к окну, точнее — батарее. Он долго, упорно вглядывался в Юлькино лицо. Словно пытался что-то на нем прочесть. И вот, через некоторое время, лицо начало меняться. Его всегда удивляло, как преобразовываются лица женщин во время секса. На них словно раскрывались поры, слетала тщательно прилаженная с утра маска равнодушия. Глаза блестят — это почти слезы. На носике, вокруг рта выступает легкая испарина. Пот заполняет появившуюся на лбу морщинку.

Заглядевшись, он ненадолго вырывался из душевных объятий своей стеснительности. Двигался быстрее. Дээспэшная спинка билась о ребристую батарею. Чтобы не кончить, он смотрел на фонарь. На то, как в падающем он него конусе беснуются снежинки.

Когда все закончилось, и презерватив полетел в форточку, опережая снежинки, а он сидел, прислонившись к спине, по-турецки скрестив ноги, Юлька что-то сказала. Звуки доносились из-под одеяла — глухо, неразборчиво.

— А?

— Ничего, если ты сегодня домой пойдешь?

Она просила о таком впервые.

— Да ничего. Я сам хотел пойти. Завтра пораньше встать надо. Не хотел тебя будить.

Она очень чутко спала.

— Ты мог бы утром поехать от меня. Сам знаешь.

— Знаю.

— Просто сегодня — никак. Хочу побыть одна, — она словно оправдывалась. Это почему-то раздражало.

— Хорошо.

Ступив с крыльца на обледенелую площадку перед подъездом, почувствовал, как левая нога уходит в сторону. По-акробатски раскинув руки, еле удержал равновесие. Застыл в таком положении — с отведенной в сторону ногой, с раскинутыми руками — и получил в лицо порцию снежной крупы.

Засунул руки в карманы. Зашагал. В такие моменты очень важно было чем-то занять свои мысли; не отдавать себя, свой внутренний мир, этому холоду. Не позволять кусачим порывам забраться под куртку, под свитер, под майку. Не дать им отыскать там мельчайшие поры, сквозь которые они могут проникнуть внутрь — в кровь, в клеточную структуру.

Он выстраивал между собой и окружающим холодом оборонительный вал, размышляя о политике, музыке, религии, экономике. Прыгал с одной темы на другую. Шагавший рядом воображаемый собеседник похрустывал февральской известкой и молча кивал.

Девочку встретил, уже почти добравшись до остановки — то есть, проходя мимо магазина с сохранившейся с советских времен вывеской: «Универмаг». Она стояла — точнее, сидела — у входа. Несмотря на холод и желание поскорее попасть в какое-никакое, а все же тепло маршрутки, сбавил скорость, с семенящей полурывсыцы перейдя на размеренный прогулочный шаг.

Она сидела и ждала мать. Он знал это, потому что ни разу не видел девочку без мамы. Сейчас, видимо, она зашла в магазин. Следующая маршрутка будет минут через десять. Поняв, что ничего не теряет (какая разница — курить у магазина или на остановке?), спрятался в закуток у самого входа, аккуратно напротив нее. Достал пачку. Вытряхнул белый цилиндрик. Прикурил. Делая первый затяг, почувствовал, как в заполненные ледяным воздухом легкие проникает сигаретный дым. Почему-то представил свои легкие промерзшей ржавой кастрюлей, в которую кинули горящую тряпку. В очередной раз подумал: «Бросать надо».

Она сидела напротив. Зеленая вязаная шапочка. Шуба. Такую он последний раз видел у матери лет пятнадцать назад (сохранилась с советских времен). мех — синтетический. От кусачего ветра не спасет. Из-под шубы выглядывают безжизненные ноги в толстых коричневых колготках.

Валенки.

И варежки. Точнее, их отсутствие.

Он докурил. Вынул еще одну.

Заметил, как мимо остановки пролетел — теперь уже не оставиваясь — очередной микроавтобус.

Поглядел на часы. Двадцать три — десять.

Через пять минут будет еще одна «Газель». Потом — все. Придется топтать пять кварталов пешком.

Он ждал, когда из магазина выйдет мать. Выйдет, возьмется за ручки кресла и повезет, потолкает дочь домой. Потом они обе растворятся в темноте и вьюге, и тогда он продолжит свой путь домой.

Он никогда не отличался альтруизмом. Равно как нельзя было его назвать и законченным эгоистом. Он был — обычным. Не черным. Не белым. Как-то раз откопал в «Откровении Иоанна богослова» фразу: «О, если бы ты был либо холоден, либо горяч!» Прочитав ее, понял, что не относится ни к тем, ни к другим.

Ни к добрым, ни к злым.

Ни к левым, ни к правым.

Ни к хорошим, ни к плохим.

Ни к холодным, ни к горячим.

И ему сделалось жутковато.

И сейчас он, глядя на девочку, думал не о том, что она замерзает. Нет.

Он обратил внимание на висящую на двери табличку:

«Время работы: с 10-00 до 23-00».

Значит, если бы мать была внутри, она бы давно уже вышла.

Словно в подтверждение, внутри один за другим начали гаснуть продолговатые лампы дневного накаливания, погружая в полумрак торговые ряды.

Он смотрел на руки девочки, которые она, несмотря на мороз, держала поверх одежды. На бледные пальцы. Думал о том, что, если мать не подойдет, девочке придется катить кресло самой. Крутить колеса.

Мимо остановки мягко, почти бесшумно профырчало-прошелестело последнее маршрутное такси.

Теперь — пешком. Только вначале надо решить с этой девочкой.

Он посмотрел на часы. Да, все верно. Двадцать три — пятнадцать. Ни одна здравомыслящая мать не оставила бы больного ре-

бенка одного на пятнадцать минут. То есть на пятнадцать — это как минимум. Он ведь не знает, как давно мать зашла внутрь.

Он думал о том, как девочка будет спускаться с заметенного крыльца; как будет ехать по дорожке, которая уже сантиметров на пятнадцать занесена снегом.

В детском саду однажды на спор прислонился языком к металлической трубе. Все бы ничего, если бы не пятнадцатиградусный мороз. Язык потом долго болел. Принимать пищу приходилось в разжиженном виде через соломинку. Он запомнил эту боль, этот страх — когда ты стоишь, обдуваемый всеми ветрами, а твой язык примерз к металлу, почти врос в него.

Девочка смотрела на него, опустив голову на бок. Ее взгляд ничего не выражал. Ну, то есть почти ничего. Типичный взгляд умственно отсталого ребенка.

Он представлял, как голые пальцы девочки будут обхватывать приваренные к колесам, раскалившиеся на морозе обручи. Как на металле будут оставаться бурые следы. Прямо как тогда, на трубе — после того, как он, собрав в кулак всю волю, дернулся — и освободил язык.

Принял решение. Подошел к ребенку. Сел перед креслом на корточки. Посмотрел в глаза.

— Привет. Где твоя мама?

Девочка молчала. Смотрела куда-то вверх. Уголок рта чуть приподнялся. Он решил, что это улыбка.

Говорить бесполезно, подумал он. Надо отвезти ее.

Куда?

Вопрос на шутку баксов.

Ладно. Для начала — на остановку. Там можно спрятаться от ветра. А там разберемся.

Обошел кресло. Взялся за ручки. Налег всем весом. Чуть-чуть, слово для порядка, посопротивлявшись, кресло набрало скорость. Колеса пружинисто соскочили с невысокого, наполовину заметенного крыльца и принялись резать похожий на муку снег.

И тут она завывала.

Вначале он подумал, что это вьюга. Потом крик набрал силу, сделался ниже. Он вдруг подумал о далекой Африке. О лягушке-быке, рев которой, говорят, слышно за несколько километров.

Девочка тянула одну бесконечную ногу. Казалось, она даже не делала пауз, чтобы набрать в легкие воздух.

— Анечка! — крик из-за спины. И тут же — еще один. — Ты куда ее тащишь?

Мать — дородная баба лет сорока, с большой коричневой сумкой — вынырнула из-за угла магазина.

Он вспомнил, что за углом находится круглосуточный комок. Знал, что «комок» — в данном случае неподходящее название. Но именовать приземистое строение, в котором торгуют водкой, макаронами и сигаретами, «павильоном», не поворачивался язык.

Видимо, поняв, что в «Универмаг» она уже не успевает, мать отправилась в комок. Только дочку-инвалида почему-то оставила у входа в большой магазин.

От шагнул в сторону. Мать, не отрывая от него злобного взгляда, ухватилась за ручки кресла. Рывкнула:

— Сейчас милицию вызову!

— Я думал, ее здесь бросили. Хотел до остановки довезти.

— Это что я, по-твоему, родную дочь брошу?

Покатила кресло, на ходу успокаивая воющего ребенка:

— Ничего, Анечка, сейчас на Роналду посмотрим.

Мать подкатила кресло обратно, к крыльцу. Затаскивать не стала.

— Вон, смотри. Воон он!

Вой прекратился.

Щурясь от обжигающей лицо снежной муки, он разглядел на стене входа плакат с Криштиану Роналду. То есть прямо за тем местом, где он стоял. Получается, то, что он принял за отсутствующее выражение на девочкином лице, таковым не являлось. Она, наоборот, прилагала все усилия, чтобы разглядеть плакат. Хотя бы краешек. То, что не закрывала его спина.

— Вот и оставляй тебя после этого — на Роналду посмотреть, — смягчившийся, с теплыми нотками, голос матери.

Развернулся и зашагал.

Дома, раздевшись, не полез в ванну — как делал это обычно, приходя с мороза. Включил телевизор и долго щелкал каналами. Потом отложил пульт. Прошел на кухню. Там, на полочке над холодильником, стояли мамины иконки и лежали молитвословы. Взял первый попавшийся — тот, что был сверху. Перелистнув несколько страниц, нашел нужную.

Последний раз он слышал эти слова в детстве.

В падающем из окна свете фонаря начал тихо читать.

— Богородица — дева, радуйся...

Зачем читал? Если бы его спросили, он бы не смог ответить. Ни холодный, ни горячий, он хотел лишь одного. Не хотел — жаждал. Чтобы. Все. Было. Хорошо.

Если бы спросили: что именно — все? — он бы тоже не смог ответить.

Пока читал, на стекло несколько раз налетали порывы ветра.

Закончив, положил книгу на место. Прошлепал в свою комнату. Провалился в кромешный, целительный сон без сновидений, словно весь день таскал мешки с цементом.

За пять кварталов от него ворочавшаяся в кровати Юлька перевернулась на спину. Глядя в потолок, четко для себя решила: «Никаких аборт. И Пашке надо обо всем рассказать».

В соседнем с Юлькой доме маленькой девочке приснился Криштиану Роналду.

НОЧЬ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

Первое, что вижу — свет. Белый. Ослепляющий.

Впрочем, сказать «вижу» — не совсем верно. Свет просто есть, а кроме него нет ничего. Свет пробивается под полуприкрытые веки. Режет глаза.

По щекам текут слезы. Видимо, как раз из-за света. Две слезинки на правой щеке, одна — на левой. Оставляют теплые дорожки. Скатываются на подушку. То есть, наверное, это должна быть подушка. Под затылком что-то жесткое, похрустывающее.

Вспоминается вдруг детство. Лето у бабушки. Подушки, набитые гусиными перьями.

Моргаю. Очередная порция слез. Пара слезинок стекает в уголок рта. Солёный привкус.

Изменяю угол зрения. Картинка начинает прорисовываться. Поморгав минут пять, с интересом принимаюсь изучать окружающую обстановку.

Я нахожусь в средних размеров комнате. Судя по всему, это сельский дом: на обоях кое-где прорехи, в которых видны бревна.

У стены напротив — койка. Такие обычно стоят в больничных палатах. На койке кто-то лежит лицом к стене. Без движения. Слышен только приглушенный стон — или невнятное бормотание.

Пытаюсь обратиться к лежащему человеку. Позвать. Заговорить. С ужасом обнаруживаю, что не могу этого сделать. Связки парализованы. Горло словно набито теплой тканью.

Но дело даже не в этом. Не в горле и не в связках. Дело в том, что...

Стоп. Не надо. Гнать такие мысли прочь!

Сердце принимается усиленно биться, со стопроцентной точностью сигнализируя о чем-то ужасном. Противоестественном. Дыхание учащается. Грудная клетка принимается ходить ходуном.

Нельзя. Впадать. В панику. Только не сейчас.

Чтобы отвлечься, смотрю в изножье кровати. Прямо над покрытой облупившейся краской спинкой — окно. А за окном — снег.

На мгновение все отступает на второй план. Потому что в противовес комнате (которую про себя уже успел окрестить «палатой») с ее давящей атмосферой, картина за окном радует глаз. Успокаивает.

Теперь ясно — именно эта белизна слепила и резала глаза. Снег покрывает подоконник сантиметров на десять. Снег лежит на ветках деревьев и заполняет трещины в коре.

Но самое главное — он падает. Самыми настоящими зимними хлопьями.

Зимними. Почему-то это слово кажется очень важным.

Крупные снежинки ложатся на стекло, на ветки и, наверное, на землю. «Наверное» — потому что я этого не вижу. Потому что если хочу это увидеть, необходимо приподняться на локтях и сесть. А все тело словно парализовано.

Да какое тут, на хрен, «словно»? Парализовано — и точка!

Чувствую спину, позвоночник, грудь, ребра, ноги, пальцы рук и ног. Ощущаю, как толстое байковое одеяло касается кожи. А пошевелиться — никак. Даже напрячь мышцы не получается.

Пытаюсь сосредоточиться.

Надо рассуждать логически.

Я не могу пошевелиться. Насколько хватает моих познаний в медицине, такое возможно только при нарушении функций центральной нервной системы.

Например, сломан позвоночник. Или нарушены какие-то из функций мозга.

Но позвоночник-то, кажется, цел.

И с мозгом вроде бы все в порядке. Ведь соображаю же я. Поначалу был в голове туман, но потом рассеялся — и теперь там почти так же ясно и свежо, как за окном. Как на улице, где в холодном воздухе кувыркаются, героически пытаюсь сопротивляться земному притяжению, снежинки.

Даю девять из десяти на то, что с ЦНС все в порядке. Даже, видите, аббревиатуру какую вспомнил — ЦНС! Значит, мозг работает.

ЦНС — это из школьной программы. Никогда бы не подумал, что буду так рад вспомнить одно из определений, которые в нас вдалбливала биологичка Наталья Александровна. Извинился бы, окажись она сейчас здесь — за то, что вместе со всеми тайком звал ее Плаксой. Ну и что с того, что выражение лица у нее всегда было такое, словно вот-вот разревется? Зато аббревиатуре-то какой научила — «цэ эн эс»!

Я не могу пошевелиться по другой причине.

Не помню, как это делается!

И в случае с речью, кстати, то же самое.

Сердце, успокоившееся было, снова начинает бешено колотиться. Удары гулкой пульсацией отдаются в ушах. Кажется, еще чуть-чуть — барабанные перепонки лопнут, и на подушку брызнут струйки горячей крови.

Коричневое одеяло на груди поднимается и опадает, как пленка на закипающем молоке.

Моргаю.

Снова слезы: на этот раз — от бессилия.

И тут с соседней койки доносится голос:

— Успокойся. Это у них такой наркоз. Пройдет.

Только тут осознаю, что издаю приглушенное мычание. Видимо, оно и привлекло обладателя голоса. Того самого типа, который лежит лицом к стенке.

Я хочу спросить: какой наркоз?

Хочу спросить: у кого — у них? Когда пройдет?

Из горла вырывается лишь: «Ммммм» Так, наверное, мычит скотина перед убоем. Когда инстинктивно чувствует скорую смерть.

Хочу спросить: где я?

«Ммммм».

Тип с койки гнусаво тянет:

— Наркоз...

И:

— Пройдеооот...

Словно передразнивает самого себя.

Через пару минут сосед по «палате» затихает. Видимо, заснул.

Ни черта меня его слова не успокоили. Если он, конечно, этого хотел.

Пол в комнате покрыт красными досками. В отличие от прочей «атрибутики» комнаты (от которой так и веет запущенностью), доски производят впечатление свежевыкрашенных. В одном месте виден отпечаток ноги. Словно кто-то наступил на невысохшую краску сапогом.

Снова перевожу взгляд на окно. Приглядевшись, различаю за деревьями приземистое строение — что-то вроде сарая, покосившегося и наполовину занесенного снегом.

Снег.

Назойливая, требовательная мысль не дает покоя. Пытается пробиться наружу.

Снег.

«Думай. Ты не в состоянии пошевелиться и заговорить — но мыслить-то можешь».

Снег.

«Давай. Это важно. Очень важно».

Слышу глухой звук. Судя по всему, открылась дверь в «палату». Дверь я тоже не вижу, потому что расположена она за черной печкой-голландкой.

Краем глаза различаю силуэт. Подходит к печке. Наклоняется. Слышно, как что-то валится на пол. Дрова?

Потом тишина.

Чувствую на себе пристальный взгляд.

Шаги.

Надо мной нависает лицо. Мальчишка. Совсем еще ребенок. Изучающее смотрит.

Простояв так недолго, мальчик выбегает из комнаты. На ходу опрокидывает вязанку дров.

Снова хлопает дверь. В окне мелькает силуэт мальчишки. Слышу, как он отрывисто выкрикивает что-то на бегу, но могу только разобрать: «Глаза открыл...» И потом — какое-то непонятное слово. Не знаю его значения.

«Адана».

Сосед по комнате снова что-то бормочет. Потом поворачивается ко мне лицом.

Я узнаю его.

И за несколько минут вспоминаю все. Словно кто-то закидывает в голову образы — яркие, как буквы на вывеске магазина.

Автобус.

Ночная дорога.

Лес за окном.

Лицо водителя в зеркальце заднего вида — то самое, что сейчас повернуто ко мне.

Убаюкивающее пофыркивание мотора.

Рев тормозов.

Визг женщины с соседнего сиденья.

Головокружение.

Сумятица.

Темнота. Тишина.

Но, даже не смотря на тот шок, который я сейчас испытываю, самое пугающее — не авария.

Нет.

Самое пугающее — это снег. Точнее, его отсутствие в моем воспоминании.

Не то, что сейчас.

Следовательно, я здесь, в «палате», уже давно. Потому что на то, чтобы земля покрылась толстым слоем снега, в средних широтах требуется месяца два. Может, полтора — но никак не меньше. Это если учесть, что, когда я отправился в свою поездку на автобусе, была середина октября. Число не помню, но вот насчет середины октября — уверен.

Путем нехитрой арифметики прихожу к выводу, что сейчас как минимум конец ноября. А если принять к сведению, что последние зимы были на удивление поздними, то можно смело накинуть еще с полмесяца.

Впрочем, я ведь не в курсе, сколько провалялся здесь, пока был в отключке. Так что — кто знает. Может, сейчас январь в полном разгаре.

Или февраль.

Или март?

От такой передозировки информацией голова идет кругом.

Помнится, в институте говорили что-то об «информационном голодании». Это когда человеку катастрофически не хватает информации. Что от этого даже стресс может случиться. А вот я сейчас смог бы поведать преподу о том, что такое «информационное переедание». Встал бы и сказал:

— Не хотите ли вы, Галина Владимировна, узнать, что это такое? И что нужно сделать для того, чтобы его почувствовать? Все очень просто — покупаете билет на междугородний рейс, попадаете в аварию, валяетесь хрен знает сколько времени в отключке — а потом разом все вспоминаете. Вот вам и информационное переедание.

Я встал бы и сказал все это.

Если бы был сейчас на лекции, а не черт знает где. Не в «палате».

Если бы мог встать.

Если бы мог говорить.

Снова распахивается дверь. В комнату входят три человека. Тот самый мальчишка и две женщины. Одна из них подходит вплотную и смотрит на меня, сверху вниз. Выражение на лице — такое же, как до этого было у мальчишки. Странное. Радость, смешанная с каким-то непонятым напряжением.

Женщина (на вид — лет пятьдесят) оглядывает меня с головы до ног. Оборачивается и кивает второй. Та подходит. Девушка лет двадцати. Из-под платка выбивается прядка черных волос.

На мгновение вспоминаю Надю — они с девушкой чем-то неуловимо похожи. Из-за нее я, собственно, и отправился в автобусе куда глаза глядят. Мы расстались, и я решил таким вот кардинальным образом развеяться. Сменить обстановку. Не самый, может быть, умный поступок — но особым умом, по словам матери, я никогда и не отличался.

Женщины смотрят на меня. Поглаживают одеяло (только сейчас доходит, что под одеялом я голый). О чем-то перешептываются. Как ни напрягаю слух, не могу услышать ни слова.

Недолго посовещавшись, старшая снова кивает. Потом опять разглядывает меня. Губы растягиваются, а в уголках глаз появляются морщинки. Такое сочетание обычно бывает у улыбающихся людей. Только вот ни за что не назвал бы это выражение на ее лице улыбкой.

Женщина говорит:

— Не здоров еще. Ничего. Поправится.

У нее глубокий, почти мужской голос.

И вдруг тетка начинает смеяться заливистым женским смехом — словно кто-то щелкнул невидимой ручкой и повысил звучание на пару октав.

К ней присоединяется молодая.

Из-за спины обеим вторит мальчишка.

Потом все трое как по команде затихают. Резко посерьезнев, старшая — видимо, она у них за главную — говорит:

— Меня зовут мать Адана.

«Адана». Слово, которое кричал мальчишка.

— А это, — мать Адана кивает в сторону девушки, — Даная.

Не оборачиваясь, она протягивает руку назад. Мальчик кладет что-то ей в ладонь. Большой серый комок. Второй рукой тетка стаскивает с меня одеяло. До пояса.

Поглаживая комок, мать Адана говорит:

— Ты Хому не бойся. Он лечит.

Даная кивает и поддакивает:

— Хома — он хороший.

Адана выбрасывает руку вперед. На живот шлепается что-то мягкое, теплое — а она стоит так какое-то время: с простертой над кроватью рукой. Пальцы разжаты. Ладонь маячит внутренней стороной прямо перед моим лицом.

Она похожа на жрицу. Или на героиню с советского из разряда «Враг не пройдет».

Ощущение тепла моментально сменяется болью.

Хочу закричать. Из стиснутых губ доносится мычание.

Я — скотина на бойне.

Пленник, которого ведут в пыточную.

Мне снова восемь, и девочка из седьмого класса зажала мне рот ладонью, пока ее подруги рывками стаскивают брюки. Снова слышу их смех и комментарии:

— Ты гляди-ка, а для второклассника ничего так. Большенький.

Снова, как пятнадцать лет назад, душат слезы бессилия. Но вместо крика тишину нарушает лишь мое пыхтение-мычание. Еще не-

много — и услышу голос той, чья ладонь намочила от моей слюны: «Девочки, да у него встает...»

Но вместо этого слышу лишь, как мать Адана повторяет:
— Хома лечит... Хома лечит... Не бойся...

Предельно скосив глаза, вижу, как из серого комочка появляются тоненькие лапки с длинными когтями.

Коготки принимаются быстро-быстро царапать кожу. От таких прикосновений в другой ситуации захотелось бы смеяться. Как от щекотки. Но сейчас мне хочется только одного.

Кричать.

Громко. Исступленно.

Все напряжение, копившееся с того самого момента, как проснулся, просится наружу. Хочет вырваться. Выпрыгнуть. Потому что чересчур засиделось внутри.

Каким-то чудовищным, нечеловеческим усилием удается выпнуть спину дугой. Застываю в такой позе — и мычу. Хриплю. Повизгиваю.

Я во втором классе, и сейчас одна из взрослых девочек обхватит пальцами мой пенис. А вторая больно ущипнет за щеку.

Но вместо этого чувствую, как крысиные коготки проникают глубоко под кожу. Маленькие зубки вгрызаются в мышцы живота. В расположенный сразу под ними кишечник.

Теряя сознание, вижу, как серый комок лезет внутрь.

* * *

Двенадцать дней прошло с тех пор, как я очнулся в Лазарете — так сестры сами называют несколько изб, отгороженных от леса дощатым забором.

Весь день выюжит. За окном ни черта не видно, и мне скучно.

Я по-прежнему очень слаб. С трудом самостоятельно выхожу в сени. Там стоит ведро, выполняющее функции туалета. Если ты мочишься, приходится одной рукой держать свое хозяйство, а второй опираться о стенку. Если ходишь по-крупному — нужно ухватиться за ручку двери. Пока занят процессом, гениталии успевают скукожиться, а задница — пойти пупырышками. Температура в сенях отличается от той, что на улице, градуса на три, не больше.

После того, как я познакомился с матерью Аданой и Данаей, приходили другие. Они называли себя сестрами.

Сестра Идель. Сестра Суфта. Сестра Кальма. Сестра Лота.

Я лежу и слушаю вой выюги. Слушаю царапанье веток по стеклу. Слушаю храп соседа.

Когда смотреть не на что, остается только слушать. Впрочем, и это со временем надоедает.

Всего в Лазарете шесть женщин и один мальчик. Женщины называют себя сестрами ордена святого Иакима. Мальчик у них кто-то вроде прислуги. Это видно по пренебрежению, с которым они к нему относятся.

Сосед-водитель временами становится очень словоохотлив. Адекватным собеседником, правда, назвать его можно разве что с большой натяжкой. Он любит по несколько раз повторять какое-нибудь слово. Или целую фразу. Как будто боится забыть. Он произносит слова медленно. Как бы пробует их на вкус. Не знаю, был он таким всегда — или это последствия катастрофы.

Он рассказал, что в аварии выжили все. Кроме грудного младенца и одного старика. Старик, по словам водилы, был совсем уж дряхлый. Дышал, что называется, на ладан. Удивительно, как у него вообще хватило сил на то, чтобы без посторонней помощи залезть в автобус.

Сестры ордена святого Иакима появились сразу. Словно заранее знали об аварии. Водила не терял сознания и видел, как они молча вышли из-за деревьев. Как принялись уносить раненых. Мальчишка бегал вокруг и смеялся тоненьким, идиотским смехом.

Где сейчас остальные пассажиры, водила не знает. Возможно, они в соседних избах. На вопрос — как далеко от Лазарета до ближайшего города (села, деревни) ответить тоже не может. Сестры, по его словам, ничего не говорят. Делают вид, что не слышат.

«Делают вид, что не слышат», — он повторил это раза три. Он так достал этими повторами, что от злости я чуть не обматерил него. Но вовремя остановился.

Надо беречь нервы. И вообще — кто знает, может, этот красно-мордый мужик с огромным, как у беременной бабы, животом и проплешиной почти во всю голову, мне еще пригодится. В конце концов, он здесь единственный, кто не имеет никакого отношения к сестрам и их ордену. Так что теоретически мы с ним принадлежим к одному лагерю.

Я с трудом верю, что все происходящее — не сон.

Серьезно.

Как-то раз, в одиннадцатом классе, я проснулся посреди ночи. Посмотрел на часы. Было двадцать минут третьего.

Если я просыпаюсь и не могу заснуть, то обычно включаю телевизор. Или книжку читаю. Вот и в тот раз решил подняться и включить свет. Но краем глаза заметил какое-то движение. Повернув голову, увидел перед собой темный силуэт. У силуэта было мое лицо.

Я закричал. И только тогда проснулся. По-настоящему. Оказалось, все это время я спал, хотя мысли были абсолютно ясными. Мыслями бодрствующего человека.

Это я к тому, что и сейчас порой возникает такое же ощущение.

Я слышу треск поленьев в печке.

Чувствую запах супа, который был на обед.

Слышу, как сосед возится на койке.

Но иногда кажется, что сейчас произойдет что-то — и я проснусь. Только это «что-то» — то, что будет предшествовать пробуждению — меня не обрадует.

Многие вещи, с которыми я здесь столкнулся — их просто не может быть. Ну, то есть в реальной жизни. Взять хотя бы Хом.

Хомы — те самые пушистые кишкогрызы, которые в ночь пробуждения напугали до усрачки — выполняют терапевтическую функцию.

Они прогрызают отверстие в животе и забираются внутрь. При этом от кровотечения ты не умираешь — слюна Хом содержит вещества, способствующие свертыванию крови. Сразу после того, как он проникает в твои внутренности, рана начинает заживать. Края срастаются у тебя на глазах.

Попав в живот, Хома, раздвигая ткани, поднимается вверх. К солнечному сплетению. Каждый раз ты чувствуешь, как он перебирает тонкими ножками.

Кстати, помимо прочего, в слюне Хом содержатся еще и какие-то обезболивающие вещества. Так что боли на самом деле не ощущаешь. Ну, то есть почти не ощущаешь. А все эти крики и дерганья, которые я выдал в первый раз — скорее от страха, чем от боли.

Когда чувствуешь, как внутри тебя копошится что-то живое — к таким вещам невозможно привыкнуть. Но со временем все-таки учишься держать себя в руках. По крайней мере, не орешь.

Оказавшись под солнечным сплетением, Хома выделает из анального отверстия фермент, который способствует заживлению тканей.

То есть он гадит лекарствами. В прямом смысле.

Ножки Хомы начинают очень мелко и быстро вибрировать на одной частоте с клетками тела.

Обо всем этом мне рассказала Даная.

Я не понял тонкостей, но суть в том, что, пока Хома внутри, все виды тканей — особенно костных — восстанавливаются с поразительной скоростью.

Даная приходит каждый день.

Когда я не мог говорить, она сидела на краешке кровати и успокаивала. Рассказывала, что слюна Хом блокирует некоторые

функции мозга. Например, те, что отвечают за речь и передвижение. Это необходимо для лечения.

Когда я вспомнил — как нужно говорить — то спросил у Данаи, куда деваются Хомы после того, как выполняют свою работу. Сам я не могу этого знать, потому что всегда отключаюсь минут через пятнадцать-двадцать после начала сеанса.

По ее словам, они вырабатывают себя и превращаются в пореобразную массу, которая выводится из организма вместе с калом.

Пару раз я пристально изучал ведро в поисках кусочков костей или волосков. Как ни старался, ничего не разглядел.

Пять дней назад мне перестали приносить Хом. Чему я, само собой, несказанно рад.

Я ни разу не спросил у Данаи, когда нас отпустят «в мир». То есть — когда за нами кто-нибудь придет. Почему-то боюсь это сделать.

Один раз почти решился. Но в тот момент, когда уже открывал рот, Даная так на меня глянула — в общем, охота говорить сразу отпала.

Может, она читает мысли?

Я уже ничему не удивлюсь.

* * *

Ночь.

Над моей кроватью — картина. На картине какой-то мужик с неприятной, как у сестер, улыбкой.

Человек одет в просторное одеяние, похожее на мексиканское пончо. Голова кажется слишком большой по отношению к телу. В одной руке он держит открытую книгу. Вторая обращена раскрытой ладонью к тому, кто смотрит на картину. То есть ко мне.

У него за спиной пустынная каменистая равнина, посреди которой возвышается какое-то строение. Полностью его не видно. Видны только торчащие из-за плеча мужика башенки и шпили.

Все детали картины прописаны мастерски. До мельчайших подробностей — например, складочек на одежде мужчины. В связи с этим удивляет лицо. Оно абсолютно, безнадежно неживое. Глаза смотрят в пустоту. Такое ощущение, что на рисунке изображена изготовленная в человеческий рост кукла.

От Данаи я узнал, что это и есть святой Иаким.

Иаким. Странное имя. Никогда не слышал такого.

То же самое можно сказать и про имена сестер. Они кажутся какими-то ненастоящими. Искусственными, как синтетический белок.

Я разглядываю картину.

Долго.

Очень долго.

И через некоторое время кажется, что человек с картины тоже разглядывает меня. Кажется, что усмешка на его губах исчезает. Что глаза из пронзительно-голубых становятся черными. Без зрачков.

Мои глаза против воли слипаются. Хочу перевернуться на другой бок, чтобы не лежать лицом к картине — но проваливаюсь в сон, не успев это сделать...

...Лица. Знакомые и незнакомые. Они окружают меня и уходят вверх, образуя подобие колодца. Их рты открываются и закрываются. Каждое лицо говорит что-то, но голоса сливаются в единый гул, заглушая друг друга.

Я вижу двоюродного брата. Какую-то рыжеволосую девушку. Соседа-водилу. Старика с крючковатым носом. Надю. Покойную бабушку.

Десятки лиц. Может быть, сотни. Они пытаются о чем-то сказать, но из общего гама невозможно выделить ни одного отдельного голоса.

Внезапно что-то привлекает внимание лиц, и их взгляды устремляются к верху «колодца». Туда, где, если это был бы настоящий колодец, находилась бы крышка. Туда, откуда исходит свет.

Я смотрю вместе с остальными. И вижу лицо матери Аданы. Она открывает рот, и из него начинают сыпаться пушистые комочки.

Хомы.

Они падают мне на плечи, на руки, на грудь.

И грызут. Грызут.

Грызут...

...Кто-то трясет за плечо. Открываю глаза.

Даная.

Ветер стих. Черные силуэты деревьев за окном едва выделяют-ся на фоне крошечной тьмы.

Даная прикладывает палец к губам и произносит:

— Тсс...

Она говорит:

— Если тебе будут сниться подобные вещи, делай что угодно, лишь бы проснуться.

Она достает что-то из-за пазухи и кладет под подушку.

— Это тебе поможет, — говорит она.

И добавляет:

— Что бы не произошло сегодня — не выдавай себя. Делай вид, что ничего не замечаешь. Притворись спящим.

Сказав все это, Даная уходит. Я снова погружаюсь в сон. На этот раз без сновидений.

Просьпаюсь утром. Сквозь ветви пробиваются первые лучи солнца, окрашивая снег во все оттенки красного.

Шепот.

Даже не так — не шепот, а какие-то звуки, которые вообще трудно причислить к человеческим. Что-то вроде приглушенного клокота.

Кровать водилы обступили высокие темные силуэты. Приглядевшись, узнаю в них сестер. Эти странные звуки исходят от них. Данаи среди сестер нет.

Одна из сестер — кажется, Идель — поворачивается ко мне. Смотрю на нее из-под полуприкрытых век. Понаблюдав за мной с минуту, она снова поворачивается к койке.

Водилу не видно. Но, прислушавшись, можно разобрать, как он тихо, скороговоркой, что-то произносит. Кажется, молится.

«...ссусеухристесынебо...»

Мать Адана наклоняется над телом. За этим следует звук — с таким вода уходит в сток ванной. Такой звук раздается, когда ты пьешь через соломинку — и вот содержимое стакана (бутылки, банки) заканчивается.

«...избавинас...»

Иногда раздается что-то, похожее на треск рвущейся материи.

Шепот переходит в поскуливание. Достигнув самой высокой ноты, обрывается. Я слышу чавкающие звуки.

Утолив жажду (или голод?) мать Адана выпрямляется, и остальные приступают к трапезе. По очереди. Наверное, в порядке старшинства.

Мать Адана смотрит на меня. Я зажмуриваю глаза и прошу какую-то неведомую силу, Бога, кого угодно — чтобы она не успела ничего заметить. Чтобы меня не выдало неровное, сбивчивое дыхание.

Слышу скрип половиц, когда мать Адана подходит к кровати. Чувствую, когда она склоняется надо мной, запах свежей крови. Запах сырого мяса. Ощущаю, как теплые капли падают на лицо. На шею. На плечи.

Она стоит так долго. Очень долго.

Чувствую, как она осматривает меня.

Как ее глаза изучают каждый сантиметр моего тела — той части, которая не накрыта одеялом.

В том момент, когда я уже почти уверен, что она все-таки что-то заподозрила, Адана возвращается к другим сестрам.

Звуки затихают. Слышно, как лязгает вставленная вместо дна сетка. Судя по звукам, с соседней койки что-то поднимают.

Топот ног.

Скрип открывающейся двери.

Не выдерживаю и поднимаю веки. Чуть-чуть.

Койка водителя пуста. Несколько ссутулившихся силуэтов выносят из комнаты что-то, завернутое в покрывало.

В слабо освещаемой рассветным солнцем комнате ничего нельзя разглядеть, но готов биться об заклад — головы у силуэтов не человеческие. Они похожи на кабаньи, только вместо клыков изо рта свисают, извиваясь во все стороны, щупальца.

Существа выходят в сени. Со своей жуткой ношей в руках.

После того, как дверь за ними захлопывается, меня начинает бить дрожь.

Двадцать два дня минуло с тех пор, как я очнулся на стальной койке. В бревенчатом доме посреди леса. В царстве кошмара.

На кровати напротив теперь лежит парень лет двадцати. Он не из пассажиров автобуса. Новая находка сестер. Даная рассказала, что его нашли лежащим без сознания на обочине лесной дороги — той самой, с которой сюда притащили меня и других пассажиров. Пулевое ранение в левом боку.

Даная приходит регулярно. Мы подолгу разговариваем. Кажется, я ей нравлюсь, хотя не уверен, что слово «нравлюсь» вообще подходит к таким существам, как она и другие сестры.

Когда я спрашиваю, способна ли она выглядеть так же, как могут выглядеть остальные сестры, она морщит лоб.

Она говорит:

— Ты имеешь в виду — способна ли я проявлять свой истинную сущность?

На ней просторная клетчатая рубашка с большими ярко-красными пуговицами. Черные мешковатые джинсы. На ногах — большие зимние кроссовки.

Ее пальцы унизаны перстнями. Не разбираюсь во всяких ювелирных тонкостях, но, кажется, камни в перстнях — не стекляшки-подделки, а настоящие. Даная говорит:

— Мое «я» спит во мне. Оно проснется после того, как я присоединюсь к трапезе. То есть после того, как мне позволят это сделать.

Даная поправляет упавшую на лоб прядку волос и рассказывает:

— Легенда гласит, что святого Иакима затравили собаками. После того, как он умер, собаки съели его тело. То, что осталось.

У нее низкий грудной голос. Она говорит и проводит пальцами по одеялу. Машинально. Ее глаза устремлены к картине на стене.

Она говорит:

— Эти собаки и стали первыми сестрами.

Парень на соседней койке хрипло дышит. На груди у него вовсю трудится Хома. Я спрашиваю, кто такой святой Иаким.

Даная улыбается. Ее глаза вспыхивают, как две маленькие молнии. Отблески падают на оконное стекло. Наверное, если смотреть на избу снаружи, может показаться, что внутри работает телевизор.

Она говорит, это человек, живший далеко отсюда. Очень далеко.

— Правда, определение «человек» в данном случае не является оптимальным.

Она говорит:

— Правильнее было бы сказать — существо.

И добавляет:

— Или даже — сущность.

Иногда я тайком наблюдаю за ней. За тем, как она передвигается по комнате.

Ее движения идеальны.

Их можно было бы назвать грациозными, если бы не эта самая идеальность. Каждый шаг, каждый жест словно выверен по линейке, измерен невидимым трафаретом.

Все слишком четко. Слишком точно.

В этой точности проскальзывает какая-то искусственность.

Ненатуральность.

Бутафория.

Некоторые фразы в ее исполнении — такие же искусственные, как и движения. Не знаю, в чем тут дело — в интонациях или в том, как она расставляет акценты.

— Вы очень любите давать всему названия и придумывать новые термины, — продолжает она, а ее рука поглаживает мою руку. — Можешь называть то место, откуда родом святой Иаким — и мы, сестры — параллельным миром. Или другой планетой. Или пятым измерением. В любом случае, людям с их уровнем развития того, о чем я говорю, не понять.

Мы приходим в ваш мир, выражаясь вашими временными категориями, примерно раз в восемь лет. Каждый раз выбираем новое место. Получаем то, что нам нужно, и уходим.

— И что вам нужно?

— Ты сам все видел.

Я вспоминаю завернутый в покрывало труп водителя.

Вспоминаю чавкающие звуки в утренней тишине.

Шепот: «...сподиисусехри...»

Выдавливаю короткий смешок. Наверное, нервы.

— И что, все дело в этом? В крови?

Даная пристально смотрит на меня.

Потом тоже усмехается и говорит:

— Кровь — просто жидкость. Мясо — только материя. Но они содержат... как бы это лучше выразиться... Наверное, самое подходящее слово на вашем языке — «информация». Да. Поглощая вас, мы получаем кое-какую информацию о вашей цепочке ДНК.

— Ты будешь удивлен, но наша с вами генная структура очень похожа. Таким образом, поедая вашу плоть и впитывая кровь, мы узнаем кое-что о самих себе.

Она смотрит на меня. Наверное, мне кажется — но на долю мгновения в ее взгляде мелькает что-то вроде симпатии. Бред, конечно.

— Извини. Я утомила тебя. Отдыхай. Приду завтра.

На соседней койке корчится коренастый парень. Кто он? Жертва бандитов? Или сам тоже — представитель какой-нибудь ОПГ? В его теле засели несколько граммов свинца, и маленький грызун делает все для того, чтобы этот кусочек металла исчез из организма. После того, как это произойдет, выйдет из организма и сам Хома.

Подойдя к двери, Даная оборачивается и произносит. Очень серьезно.

— И помни, что я говорила о снах.

* * *

В ту ночь, когда Даная пробудила меня от кошмара — того самого, с «колодцем» из лиц — она положила под подушку небольшой камень, очень похожий на кусок темного янтаря. На нем был выцарапан какой-то знак или руна. Он сильно затерт — видимо, сделан очень давно. Ничего не разберешь.

Не знаю, из-за камня или по какой-то другой причине, но сестры меня не трогают. Однажды я спросил Данаю, почему меня до сих не постигла участь остальных.

Она только покачала головой и пробормотала что-то вроде «осталось недолго». Сказала это так тихо, что я еле расслышал. Но

переспрашивать не стал. Шестое чувство подсказало — не стоит. Видимо, действительно недолго. Молча ждать.

Снова ночь. Лежу в темноте и слушаю, как по подоконнику барабаныт капли. Еле различимое «бум-бум».

Значит, уже весна. Правда, я могу об этом только догадываться. Сестры продолжают игнорировать мои вопросы — да и я сам после того, что произошло тогда, под утро, предпочитаю лишний раз к ним не обращаться. Даже Даная ничего не отвечает — а она, вроде бы, относится ко мне хорошо. Если это слово тут вообще уместно.

Я по-прежнему слаб. Подозреваю, сестры подмешивают что-то в пищу. Однако моих сил вполне хватило бы на то, чтобы попробовать добраться до дороги.

Правда, я не знаю, где она — дорога. И все-таки я бы попытался.

Но стоит отойти от избы, как тут же появляется одна из сестер. Стоит и молча смотрит. В этот момент она излучает какую-то жуткую, темную энергию. Угрозу. Словами этого не передать. Волосы встают дыбом. Сердцебиение учащается. И я возвращаюсь обратно. Не хочу выяснять, что будет, если не сделаю этого.

Ручейки талой воды сбегает вниз по стеклу, сливаясь друг с другом. Образуя абстрактные узоры.

Скрип двери. Шаги. Не поворачиваю голову — и так знаю, кто там.

В последнее время сестры питаются все чаще. Кажется, они куда-то торопятся.

Если верить Данае, сестры родом «из другого места». Очередная искусственная речевая конструкция в ее исполнении. Почему-то она очень ее любит.

Может быть, их пребывание вне «другого места» ограничено временными рамками? Надо будет спросить об этом.

Слышу шорох одежд. Каждый раз, когда кормятся, сестры одеваются в просторные балахоны из какой-то грубой ткани. Их бесформенные силуэты — все, что можно разглядеть в темноте.

За последние две недели на соседней койке успели побывать пятеро «пациентов». Мужчина лет тридцати, девочка-подросток, две женщины (обеим на вид было около пятидесяти) и грудной младенец. И всех постигла одна и та же участь.

Где сестры берут их? Наверное, все на той же дороге. Может, сами подстраивают аварии.

Время поджимает, и они становятся все смелее. Может, даже доходят до ближайших населенных пунктов — кажется, незадолго до аварии автобус проезжал мимо какой-то деревушки.

Как они заполучают своих жертв? Затаскивают силой? Завлекают обманом? Не знаю и знать не хочу.

Сестры обступают соседнюю койку. Женщина, которая лежит там (ее, находящуюся в полубеспамятстве, принесли сразу после младенца), днем успела рассказать мне, что работает бухгалтером. Что у нее девятилетняя дочь, которая из-за задержек в развитии никак не может перейти в следующий класс. Что в ближайшее время нужно решить вопрос о ее переводе в группу для умственно отсталых.

— Но моя дочь — она не отсталая, понимаете? Она просто не такая, как все. Просто мыслит чуть-чуть по-другому.

Я кивал и думал: «Тебя все это волновать уже не должно».

Я кивал и думал: «Надеюсь, муж сможет воспитать девочку один».

Сейчас я лежу и жалею о том, что нет волшебной кнопки, какого-нибудь реле, отключающего слух. Или, еще лучше — зрение. А идеальный вариант — вообще вырубаящего сознание. Знаю ведь, что сейчас произойдет.

Женщина рассказала, что возвращалась из командировки. Остановила машину и отошла по нужде. Недалеко. Всего на несколько шагов. За деревце. А потом — тишина. И теперь она здесь.

С каждым разом сестры становятся все одержимее. Все неистовее. Их трапезы все сильнее напоминают бойню.

Женщине не приносили Хом. Она ведь не пострадала, как я или водила. Ее не нужно было восстанавливать, прежде, чем сделать пищей.

Раньше сестры, кажется, растягивали удовольствие. Не уверен, но, по-моему, перед тем, как растерзать жертву, они наслаждались ее муками. Такое ощущение, что высочайшее удовлетворение они получали в момент, когда крики человека достигали предельно высокой точки. Теперь все происходит гораздо быстрее.

Короткий крик женщины обраваётся, не успев набрать силу.

Сестры больше не ждуг, пока насытятся мать Адана. Расталкивая друг друга, они рвут тело на части. Пол рядом с койкой быстро темнеет от крови. В борьбе за кусок побольше некоторые поскользываются и падают. Слышно, как когти царапают пол. Кто-то из сестер встает на четвереньки.

Что-то падает у изголовья моей кровати. Ступня. От свалки отделяется фигура, хватает ее и отправляет в рот — туда, откуда расходятся щупальца. Два сапфирово-синих глаза смотрят на меня. Потом, издав громкое мяуканье, тварь бросается обратно.

Теперь до меня доходит — зачем доски регулярно покрывают новым слоем красной краски. Причина банальна.

На красном фоне не так заметна кровь.

Вспоминаю бородатый анекдот, в котором Чапаев надевает перед боем красную рубаху, а его боевые товарищи — коричневые штаны.

Видимо, сестричкам не чужды кое-какие эстетические принципы.

Поначалу кажется, что у меня начинается кашель. Сильный. Раздирающий горло. Чуть ли не заставляющий выплюнуть легкие. Но потом понимаю, что кашель тут ни при чем.

Это смех. Первый с того момента, как очнулся. Смех до истерики. До слез. Он все нарастает и нарастает, заполняя собой комнату. Заглушая хруст и чавканье.

Сестры затихают. Смотрят на меня. Друг на друга. Некоторые склоняют свои кошмарные головы на бок. Кажется, они в недоумении.

Сестры слушают меня, мою сольную партию в этом джэм-сейшене крови. Ненадолго я становлюсь лидером джаз-бэнда. Задаю основную тональность в импровизации на тему «Ночное безумие».

А потом сестры тоже начинают смеяться. Словно бы нарочно контрастируя со мной, они делают это звонко и мелодично. Из их глоток доносится залиvistый девичий смех.

Сливаясь воедино, наш смех уносится наружу — за окно, к верхушкам деревьев, к звездам.

В этот момент я уверен, что, если замолчу, то услышу, как звезды смеются в ответ.

* * *

Весна набирает обороты. Снег почти исчез. По крайней мере, на ветках его давно уже нет, а на земле он лежит большими грязными кучами.

После той ночной истерики на меня навалилось странное спокойствие. Перестал считать дни и соседей по комнате. Я вообще ко многому потерял интерес. В каком-то рассказе была фраза: «Дни и ночи затянуло сплошной серой пеленой». Банальное высказывание. Но оно неплохо описывает мое нынешнее положение. Только моя пелена — она красного цвета.

Дни я провожу, сидя у окна и беседуя с Данаей. Ночи — зажмурив глаза. Стараясь вспомнить какую-нибудь молитву, стихотворение или песню — что угодно, лишь бы заглушить доносящиеся от соседней койки звуки. Но получается у меня плохо.

Каждую ночь жду, что войдут сестры и накинутся на меня. Прямо с порога. Повизгивая, запуская когти в плоть. Вырывая клочья мяса. Но этого не происходит.

Часто вспоминаю о Наде. О том, как лежали, обнявшись, на ее диванчике, а на компьютере играли «Kansas».

«Dust in the wind. All they are is dust in the wind».

Строчки, отражающие хрупкость и мимолетность жизни.

Последнее время я ощущаю эту мимолетность как никогда ранее.

С детства, как и миллионы других пацанов, я хотел самоутвердиться. Эта тяга доказать себе, что я не слабак, не оставляла и в более зрелом возрасте. Я прыгал с парашютом. Кидался с моста с прикрепленным к ноге канатом. Пробовал заниматься единоборствами.

Теперь понимаю, что все это было ерундой. Ребячеством. Пустой тратой времени.

Сейчас могу с уверенностью сказать: я пережил то, чего еще никому на земле переживать не доводилось. Ну, то есть если верить Данае, доводилось, но никто из этих людей не выжил. Можно сказать, что я самоутвердился. Только гордость меня не переполняет. И радости — никакой.

Надя. Работа. Товарищи. Все это словно заволок туман. Точнее, пелена. Красная.

Снова темнеет.

Койка напротив пуста: с очередным «пациентом» сестры расправились вчера, а новый еще не появился. Когда открывается дверь, я почти уверен: теперь это уж точно за мной. Даже делается немного легче.

Кто там сказал: «Ожидание смерти хуже самой смерти»?

Но входят не сестры. Точнее, не все. Только одна. Даная.

Осторожно ступая, она подходит к кровати. Я приподнимаюсь, но она поднимает руку, качает головой. Я читаю по ее губам: «Не надо».

На ней просторная зеленая накидка, полностью скрывающая фигуру. На груди черный символ. Крест, заключенный в круг. От круга во все стороны расходятся лучи. Я вспоминаю камень, который она мне подарила. Который лежит сейчас под подушкой. Теперь понимаю, что рисунок на камне — точно такой же. Один-водин. Только на камне он был сделан очень давно.

Перехватив мой взгляд, Даная говорит:

— Это символ Перерождения.

Ничего больше не объясняя, она поднимает одеяло. Садится на меня. Начинает медленно двигаться. Вперед-назад. Под накидкой у нее ничего нет.

В этот момент я напрочь забываю, кто она такая на самом деле. Может, потому, что у меня уже несколько месяцев не было девуш-

ки. А, может, потому, что сейчас в ней есть... как бы это поточнее описать? Что-то болезненно-притягательное. Томное и одновременно животное.

Она стягивает с меня трусы. Вводит в себя член.

В момент оргазма перед глазами возникает картина — настолько ясная и ощутимая, что очень трудно оставаться в здравом рассудке и напоминать себе: это всего лишь галлюцинация.

Я вижу каменное плато, которое тянется от горизонта до горизонта. Кое-где из-под камня выходят на поверхность странные скалы. Каждая имеет по четыре грани.

Издали доносится пение. Поначалу слабое, еле различимое, оно потихоньку нарастает.

Человек бы назвал это пение дисгармоничным. Только я, судя по всему, слышу его так, как слышат жители этого чужого мира. Слышу — и нахожу в нем странную красоту. Чувствую все оттенки гармонии, пропускаю через себя все мелодические переливы.

Вдалеке, среди четырехугольных скал, появляется небольшая процессия. Вижу ее издали и не могу разглядеть лиц идущих, но уверен, что это сестры ордена святого Иакима.

Та, которая возглавляет шествие, несет что-то в руках. Большой красный комок, похожий на кусок свежего мяса.

Из-за спины раздастся долгий протяжный вой. Оборачиваюсь и вижу метрах в ста циклопических размеров здание. То самое, которое скрывал собой изображенный на картине святой Иахим. Строение похоже на купол, из которого в разные стороны под невыносимыми углами торчат башенки, до того хрупкие на вид, что, кажется, готовы в любую минуту отломиться и рухнуть, влекомые силой притяжения. Кстати, она здесь в разы сильнее земной.

Вой нарастает, ввинчиваясь в фиолетовое небо. Прокатываясь по безжизненной равнине. Словно тот, кто живет внутри здания, почуствовал приближение процессии.

Пение прерывается, и сестры отвечают тому, кто ждет их внутри, таким же воем. Только тише и слабее.

Видение исчезает.

Даная стоит рядом с кроватью. На ней та же зеленая накидка. Только знак на груди исчез.

Она говорит:

— Теперь тебе надо уходить. Очень быстро.

Что-то изменилось в ее лице. В нем появился едва уловимый оттенок той отрешенности. Таковую я видел до этого у других сестер.

Она повторяет. С трудом, словно выдавливая из себя слова.

— Тебе надо уходить.

Кивает в сторону сложенной на стуле одежды.

Не задавая лишних вопросов, натягиваю джинсы.

Даная молча наблюдает за мной. Искося поглядывая на нее, замечаю — или это кажется? — как ее лицо временами преобразается. На несколько секунд оно превращается в звериную морду. В продолговатое рыло со щупальцами у рта.

Через пару минут мы вдвоем уже шагаем мимо изб («корпусов», как называют их сестры). Под ногами хлопает жидкая черная грязь.

Идти с каждым шагом все легче. По мере того, как я удаляюсь от своего «корпуса», слабость пропадает. Зато Даная, наоборот, регулярно останавливается. Сгибается пополам. Кривит губы.

В окне одного из строений маячит силуэт матери Аданы. Она стоит и смотрит на нас. Молча. На лице застыла маска ненависти.

Даная берет меня за локоть — то ли для того, чтобы не упасть, то ли желая подбодрить — и говорит:

— Не бойся. Она не может остановить нас. Сейчас. Потому что сейчас я сильнее. Но это продлится недолго.

Дом с Аданой, которая сегодня потерпела поражение, остается позади.

В лунном свете вырисовываются очертания изб. Вижу колодец. Какие-то сараи. Интересно, что они скрывают внутри? Что в них прячут сестры?

Даная говорит:

— Каждые восемь лет святой Иаким должен обретать новый облик. Перерождаться. И каждый раз честь родить младенца, в которого войдет его дух — младенца, которому будут поклоняться следующие восемь лет — выпадает самой молодой из сестер.

Даная рассказывает — то, что я видел сегодня, пока мы с ней были вместе, происходило на самом деле. Только не в этом, а в другом — ее и сестер — мире. Она рассказывает, что ни одно из перерождений не надо вынашивать. Ребенок появляется на свет сразу же после зачатия. Там. В ее мире.

Даная говорит:

— Я сразу поняла, что ты подходишь на роль отца. И сестры со мной согласились.

Она говорит:

— Отцом ребенка должен стать человек, который не может уйти от своего прошлого. Такой человек, как ты.

Ты не можешь забыть ту женщину. Мы это сразу почувствовали.

Она, что, говорит про Надю? Откуда она знает?

— Мы много чего знаем. Точнее, ощущаем. Одна из благодатей, которыми одарил нас святой Иаким.

— В каком-то смысле, — говорит Даная, — та женщина спасла тебя. Потому что, если бы ты не вспоминал о ней, мы бы не обратили на тебя внимания. И с тобой произошло бы то же, что и с другими.

Иногда ее голос переходит в низкое звериное рычание.

Над тропинкой нависла еловая ветка. Даная отводит ее в сторону. Пропускает меня вперед и говорит:

— Мы можем существовать в двух мирах одновременно.

Чувствуется, что слова даются ей с трудом.

— Там ребенка уже принесли в дом. К Зверю, который будет охранять его в течение восьми лет. А здесь я очень проголодалась.

Шорох справа. Кто-то притаился в кустах.

— Зачатие отнимает много сил, — говорит Даная. Она либо не слышит шорох, либо делает вид, что не слышит. — Мне нужна пища. Скоро я стану такой же, как остальные сестры. И тогда уже не смогу себя сдерживать.

Кусты раздвигаются, и я вижу лицо мальчишки. Он улыбается. Улыбкой, которая больше похожа на оскал хищника.

Он ждал нас. Получается, его кто-то предупредил. Адана? Наверняка.

Даная даже не смотрит в его сторону. Она рассказывает:

— У вас есть такое существо — *mantis religiosa*. Богомол обыкновенный. Еще есть некоторые виды пауков и скорпионов. После спаривания мы поступаем с партнером также, как их самки. То есть обычно поступаем.

По ее лицу снова пробегает судорога. Глаза приобретают сапфировый оттенок.

Мальчишка выпрыгивает из кустов, отрезая нам путь к выходу с территории Лазарета. Встает на четвереньки. Видимо, собирается прыгнуть еще раз — на меня или Данаяю. Плотную ночную тишину разывает высокий тонкий визг.

Даная вторит мальчишке. Только звуки, которые издает она, больше напоминают рев голодного животного. Она бросается, опережая прыжок соперника.

Передо мной — не та Даная, с которой совсем недавно я занимался сексом.

Передо мной — хрипящая, брызжущая слюной тварь, каким-то чудом все еще сохраняющая человеческий облик.

Я слышу, как, ломаясь, хрустят кости. Как визг мальчишки переходит в жалобный скулеж. Затихает.

Вижу, как его кровь заливает тропинку. Смешивается с черной весенней жижей. Не в силах оторваться, загнипнотизированный этим

отвратительным зрелищем, ловлю пробегающую по телу мальчишки — совсем еще ребенка — предсмертную судорогу.

Следующие несколько минут тишину нарушают только чавканье вперемешку с мерзкими звуками. Такие бывают, когда наклоняешься над поверхностью воды и, едва касаясь губами, начинаешь всасывать прозрачную жидкость.

Потом Данаая поднимается и поворачивается ко мне. Вместо лица — кровавая маска. Кровь капает с подбородка. С кончика носа. С мочек ушей. Верхняя половина зеленой накидки потемнела.

Данаая говорит:

— Теперь я утолила голод. Но это не надолго. Надо торопиться.

Она пропускает меня вперед. Я обхожу лужу, от которой поднимаются тонкие струйки пара. Обхожу лежащие в луже останки мальчишки. Почему-то вспоминаю вдруг, что ни разу не слышал его имени.

Мы идем к выходу с территории Лазарета. Слышу за спиной хриплое дыхание Данаая.

Я знаю, что на какое-то время она не опасна. То есть, мне хочется так думать. Но на сто процентов не уверен.

Дни, которые я провел в Лазарете, эта ночь — и бесчисленные другие ночи, наполненные криками и смертью — все это сливается воедино. Наверное, мозг не может выдержать таких нагрузок. И начинает воспринимать все не так остро. Начинает привыкать.

Мы идем по тропинке, и я, не оборачиваясь, спрашиваю у Данаая. У матери моего ребенка. Матери с лицом, которое перемазано кровью. Кровью другого ребенка.

— А что будет с младенцем... с перерождением святого Иакима, когда пройдет восемь лет?

Мы проходим мимо очередного «корпуса». Отражение Данаая в оконном стекле пожимает плечами.

— Зверь съест его. А потом мы снова придем сюда — или в другое место. И будет еще одна Ночь Перерождения.

Голос Данаая из-за спины говорит:

— Мы живем циклами. Проходим их снова и снова каждые восемь лет. После очередной Ночи Перерождения все начинается заново. У некоторых из вас это называется сансарой.

Я спрашиваю:

— А как долго длится ваша жизнь?

Пауза. Тишину нарушают только звуки наших шагов. Потом ее голос сзади отвечает:

— Что значит — как долго? Мы живем от Ночи до Ночи. И это продолжается бесконечно. Разве может быть по-другому?

Я молчу, потому что не знаю — что ей ответить. Наш разговор начинается смахивать на общение слепого с глухонемым.

Через пару минут мы подходим к калитке, за которой плотной темной стеной возвышаются хмурые сосны. Если бы Шишкин когда-нибудь нарисовал ночной лес, то, наверное, изобразил бы его именно таким. Могучим. Языческим.

Пахнет хвоей и гниющим подростом. Неподалеку раздается крик филина. Заунывное, протяжное «ыыыыы».

Поворачиваюсь к Данае. Лучше бы я этого не делал.

Передо мной сгорбленное существо. Издательская, сюрреалистичная смесь человека с кабаном или медведем.

На несколько секунд успеваю поверить, что вот сейчас она — оно — бросится на меня, вгрызаясь в живот, нанося когтями смертельные раны, с хлюпаньем высасывая кровь.

Но вместо этого различаю речь. Уже не данаину, не людскую. Звериные связки с трудом исторгают звуки, отдаленно напоминающие человеческий голос:

— Иди по тропинке. Минут через сорок доберешься до дороги. В это время суток машины бывают редко, но рано или поздно кого-нибудь тормознешь. И запомни — не двигайся по дороге направо. Ни в машине, ни пешком. Когда случилась авария, ты ехал именно оттуда. Теперь там — твое прошлое. И оно принадлежит нам.

Зверь кричит:

— Ты должен забыть о своем доме, о родных, и особенно — о той девушке, с которой расстался.

Зверь клекочет:

— Ты должен поселиться в новом городе. Не звони родным и знакомым. Отсеки от себя прежнюю жизнь, как отсекают зараженную гангреной конечность. Потому что если не сделаешь это, мы найдем тебя. И тогда уже я не смогу сдерживать ни себя, ни сестер.

Щупальцы вокруг звериного рта извиваются. Словно живут самостоятельной жизнью. Сквозь их сплетение в сырой воздух вылетают звуки. Складываются в слова:

— Я могу попытаться объяснить, но ты все равно ничего не поймешь.

На измазанную кровью накидку стекает оранжевая слюна. Маленькие глазки смотрят на меня. В этих глазках — голод, тупость и космическая пустота.

— Просто запомни — прошлое принадлежит нам. Сестрам.

Перед тем, как развернуться, задаю последний вопрос. Вопрос, который не дает покоя уже не первый день:

— Почему ты не поступила... почему не съела меня?

Чудовище-Даная долго молчит. Очень долго. Кажется, что она уйдет, так и не ответив. Или все-таки завершит ритуал — так, как до этого на протяжении бесчисленных Ночей Перерождения завершали его другие сестры. Но я, набравшись невесть откуда взявшейся дерзкой храбрости, не тороплю ее. И терпеливо, упорно жду. Вместе со мной ждут сосны, ночная живность и журчащие между вековых стволов ручейки талой воды.

Наконец, зверь отвечает:

— Я уже говорила, что, когда мы поглощаем вас, то получаем информацию. Мне не довелось попробовать тебя. Но, общаясь с тобой, я поняла одну вещь. О таких, как ты. Или мне кажется, что поняла.

Она — оно — смотрит на меня. На секунду мне мерещится, что в этом взгляде сквозит что-то вроде скорби. Или одиночества. Ясное дело, показалось.

— Такие, как ты — вы тоже перерождаетесь. Только делаете это по-другому. Для нас Перерождение — это бесконечная цепочка повторений. А для вас — шаг в неизвестность.

Зверь рычит:

— Для нас жить в прошлом — благодать. Потому что прошлого, как такового, для нас не существует. А для вас — пытка. Я отпускаю тебя, чтобы посмотреть, сможешь ли ты переродиться. Не так, как мы — а по-вашему. Без ритуала. И если да — то мне интересно, как ты это сделаешь. Теперь иди.

Через час я шагаю по федеральной трассе М-5 (Москва — Челябинск). Небо на востоке, то есть прямо передо мной, потихоньку розовеет. Боязливые лучи пробиваются сквозь стволы сосен.

Мимо меня проехали пять машин. Все они шли в ту сторону, откуда я иду. В ту сторону, откуда ехал автобус.

Приходится идти, регулярно оборачиваясь, чтобы не пропустить машину, если она вдруг появится.

Как только я вышел за калитку, слабость пропала. От неожиданности я даже качнулся и чуть не плюхнулся в грязь.

Под ботинками шелестит щебенка. Я шагаю и стараюсь не думать ни о чем.

Все эти вопросы.

Кто такие сестры?

Откуда они пришли?

Кто такой святой Иаким?

Что значит фраза: «Прошлое принадлежит нам?»

Обо всем этом я буду думать потом. Когда доберусь до людей. Когда меня перестанет бить дрожь. Когда окончательно пойму —

почувствую — что все позади. Когда выпью чая. Или пива. К деньгам в кошельке сестры не притронулись.

В спину бьет свет фар. Торопливо разворачиваюсь и поднимаю большой палец.

Водитель толкает дверь изнутри. Наклоняется над сидением. Долго и внимательно изучает меня. Наконец, кивает и тяжелым басом грохочет:

— Ну, давай-давай, хватит уже валяться. А то вон подруга тебя заждалась.

Я хочу спросить: какая подруга?

Хочу спросить: что значит «хватит валяться»? Я, простите, не валяюсь. Я стою.

Хочу сказать: я уже навалялся.

Но вместо слов связки выталкивают сиплое бормотание.

Сидуэт водителя становится размытым. Словно между ним и мной натянули прозрачную целлофановую пленку.

Тело становится неуклюжим. Мышцы словно делаются глиняными. Вены как будто наполняются ртутью. Каждое движение приносит боль.

Мир перед глазами плывет. На смену запаху хвои приходит вонь хлорки и чего-то еще. Чего-то химически-лекарственного. Я чувствую, как по щекам катятся слезы...

Четыре дня минуло с тех пор, как я очнулся в госпитале. В самом настоящем, с нормальными медсестрами. С нормальными пациентами.

Напротив меня Надя. Она гладит мою руку. Ее губы плотно сжаты. Собственно, губ как таковых не видно. Видно лишь тоненький шовик-полосочку. Верный признак того, что она вот-вот разревется.

Четыре дня с тех пор, как я очнулся в месте, где для лечения пользуются нормальными инструментами. Нормальными лекарствами. В месте, где по ночам не приходится слушать крики умирающих и звериный рев.

Надя рассказала, что, когда они с матерью отыскиали меня, шансы на то, что я выживу, были пятьдесят на пятьдесят. А потом я резко пошел на поправку.

В отключке я пролежал около двух недель.

За окном — осенний среднерусский пейзаж.

Два дня назад падал снег. Но почти сразу растаял. На то, чтобы земля полностью покрылась снегом, потребуется еще около месяца. Это если учитывать, что, когда я попал в аварию, была середина октября.

Надя говорит, что теперь все будет хорошо. Что мы будем вместе. И прочие приятные вещи.

Вначале я верил ей.

То есть — нет. Вначале я, конечно, был в шоке. От такой резкой «смены декораций». От того, что с лесной дороги попал напрямик в госпиталь.

Но потом успокоился. Вспомнил ощущение, которое не покидало меня в Лазарете. Пока я лежал в «палате», мне часто казалось, что все происходящее — сон. Что скоро произойдет что-нибудь — и я проснусь.

Я подолгу говорил с матерью. С Надей.

Пока той же ночью, засыпая, не сунул руку под подушку. И не ощутил там что-то твердое.

Пока не извлек из-под подушки камень. На камне был начертан символ. Крест, заключенный в круг. Во все стороны от круга расходятся лучи.

Сейчас я лежу и слушаю Надю. Когда закрываю глаза, перед глазами встает серая равнина. Плоская. С четырехугольными скалами.

Я сжимал камень и вспоминал слова Данаи. О времени. О перевоплощении. Надя в очередной раз пересказывает, как переживала — начиная с того момента, как я исчез. Словно что-то предчувствовала. Как оборвала телефоны всех друзей. Как они с матерью звонили в милицию и скорую — до тех пор, пока не увидели выпуск новостей про аварию на трассе «Москва-Челябинск».

Я перебиваю ее. Говорю:

— Выйди.

Она какое-то время молча смотрит на меня. Потом так же молча выходит.

Я поднимаюсь с кровати. Шаги даются легко. Те таблетки, которыми пичкали меня врачи — я их не употреблял. Прятал под матрац.

Врачи не знают, что я давно уже не чувствую боли. С того самого момента, как проснулся. Словно, пока я пребывал в отрубе, кто-то усиленно колдовал над моими ранами.

Например, маленькое пушистое существо с острыми коготками. Словно я валялся без памяти гораздо дольше, чем две недели.

Например, всю зиму — и начало весны.

Я одеваюсь, забираюсь на подоконник.

Окна второго этажа не забраны решеткой.

Сейчас я распахну створку и спрыгну. И пойду куда угодно, но не направо.

Я все уточнил. У врачей. То место, где случилась авария — оно где-то справа. Где-то далеко-далеко. В лесу.

Я пойду куда угодно, только не туда. У меня целых три варианта. Вперед. Налево. Назад.

Три варианта — это не так уж и плохо.

Главное — не идти направо. Потому что маленький кусочек твердой породы — породы, добытой в далеком, чужом мире — убедил меня лучше всяких слов в одной простой вещи.

В том, что мое прошлое принадлежит не мне.

СОДЕРЖАНИЕ:

«Конструктор». Роман.....3

Рассказы:

Рак..... 112

Санек (человек, который молился)..... 116

Единственная..... 122

Сорок дней..... 130

Русалка..... 145

Анатомия, или Так любят поэты..... 156

Предсказатель..... 165

ММЖ (Мутанты в Моей Жизни)..... 171

Три женщины..... 177

Ночь перерождения..... 183

Литературное агентство В. Смирнова. Тольятти 2014
ИД № 00092 от 27.08.99.

Редактор В. МИСЮК
Художник М. ШЛЯПИНА

СЕДОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

КОНСТРУКТОР

роман и рассказы

Рисунок ***М. Шляпиной***
Дизайн, верстка, макет ***В. Мисюк***
Отпечатано в Димитровградской
типографии, ул. Юнг Северного флота, 107.
Заказ №
Подписано в печать 16.10.2014.
Формат 60x84 / 16.
Бумага типографская.
Гарнитура "Peterburg".
Печать офсетная. Объем печ. л. – 16.0
Тираж 200 экз.